



Михаил Авдеев

ЗАПИСКИ ТАМАРИНА

Михаил Васильевич Авдеев

**Тетрадь из записок
Тамарина
(Тамарин #2)**

М. В. Авдеев
ТЕТРАДЬ ИЗ ЗАПИСОК
ТАМАРИНА

Умереть со скуки — выражение чисто гиперболическое. Мне кажется, я начал скучать с тех пор, как в первый раз чихнул при рождении, — однако, слава Богу, живу до сих пор. И в самом деле, я не помню, когда бы я не скучал: скучал я на школьной скамейке, скучал на петербургских балах, скучал в походной палатке в киргизских степях, а более всего на званых обедах. Правда, было время — время первых эполет и первых надежд, — самая юная, самая счастливая пора! Но когда оно прошло, скука взяла свое, и еще с жидовскими процентами! И я привык к ней: я ее сознал и с ней освоился. Для меня жить и скучать — два слова, почти однозначные. Скука своего рода препровождение времени: она для меня то же, что костыль для безногого, — это не живой член, но вещь, которая его отчасти заменяет.

Конечно, есть несколько избранных, у которых деятельность ума имеет широкое поле и идет рядом с деятельностью жизни. Есть, и много есть, других счастливцев, у которых смиренный ум живет помаленьку, довольствуется хорошей погодой и теплым местеч-

ком и ограничивает свои требования четвертым партнером для грошовой игры. Но велика и наша семья праздношатающихся умников, которые не умеют примирить деятельность души с деятельностью жизни, которые во весь век не сделают ни одного дельного дела и расходуют свой ум по мелочи, на острые слова да злые эпиграммы, и то для развлечения чужой, а не собственной скуки.

Вот уже с месяц, как мы с Островским в один прескверный осенний день приехали в N. Он нанял лучшую квартиру в Дворянской улице, а я поселился в бабушкином наследии. Островский предлагал мне жить вместе, но я не люблю стеснять себя и отказался, приведя пословицу, что два медведя в одной берлоге не уживутся, хотя он и доказывал, что эта пословица не относится ко львам.

Дом, доставшийся мне от бабушки, стоит на крутом берегу Волги. Зимой его заносит снегом, потому что по пустой набережной почти никто не ездит; но летом вид из окон чудесный. Широкая Волга лениво катится под горою, а по ту сторону небо да далекий поемный луг, испещренный деревеньками. Все

удивляются, зачем я поселился в этой глуши, а я ею очень доволен. Мне надоел торопливый и заботливый шум столицы, а мелкая суматоха провинции еще несноснее. Впрочем, провинциальная жизнь имеет свою хорошую сторону: здесь все живут открыто, потому что нет возможности скрыть что-нибудь. Выедешь из дому и знаешь, что на улице встретишь непременно Семена Семеныча, и откуда едет Семен Семеныч, и как он при встрече приятно улыбнется. Увидишь Петра Петровича и ждешь, что он, здороваясь и прощаясь, скажет непременно «всякого», и знаешь, что это значит «всякого вам благополучия»; слышишь, что Сережа рассказывает с жаром и клянется и уверен уже, что он прибавляет. А поутру заедет Иван Иваныч, узнать, что новенького, и непременно сам расскажет все новости. А барыни! барышни! Что лицо, то тип, и всех знаешь, и все тебя знают. Нет, много хорошего в провинции! Досадно только, что провинциалы не примиряются с этой жизнью, что они отрицают ее, сплетничают и бранят сплетни, — знают друг про друга всю подноготную, а маскируются; друг друга ча-

сто терпеть не могут, а жмут руки до излома костей и вечно хотят казаться непременно не тем, что они есть. Старая, всемирная песня!

Прожив здесь неделю, я сделал визиты всем знакомым дамам и очень немногим мужчинам. Я не могу жить без женского общества, будь оно и с грешком пополам, будь в нем даже грешка более, чем наполовину. Такова уже привычка моей обобщившейся натуры! Все меня спрашивали с какой-то улыбочкой про баронессу и многие про Вареньку. Я всем отвечал как мог любезно и из вежливости почел долгом спросить у каждой из них (у кого таковой есть) о здоровье ее возлюбленного. А одна почтенная барыня, мать трех взрослых дочерей, которая все уверяет, что любит меня как сына, потому что часто игрывала в бостон с покойной бабушкой, шепотом спросила, может ли она меня поздравить. Я отвечал ей, что кроме вчерашнего проигрыша в клубе меня поздравить не с чем, и тогда она объявила, что здесь носятся слухи о моей помолвке с Варенькой Домашневой, но что, впрочем, она этому не верит, потому что Варенька хоть и милая девочка, но мне не пара,

жила в деревне, не имеет светских манер обращения (причем она невольно взглянула на трех дочек, навтытяжку сидевших на стульях), и прибавила, что, вероятно, я бы не сделал подобного шага, не посоветовавшись с добрыми знакомыми, которые любят меня как сына. Я успокоил ее, уверив в несправедливости слуха и высказав твердое намерение никогда не жениться, против которого, впрочем, она горячо спорила.

Из всего этого я удостоверился, что здесь догадываются о том, как я провел лето в деревне с моими соседками, но я твердо убежден, что никто не знает чего-либо положительно: для большинства достаточно было слуха о соседстве, и из этого вывели заключения. Таков свет! Он все толкует в дурную сторону. А между тем в слухах обо мне есть часть истины. Неужели прав он со своим черным взглядом на вещи? Неужели дурное — общее правило, а хорошее — только исключение. Если так, то это грустно! Впрочем, где ж тут дурное? И виноват ли я, что свет вороновым взглядом прочуял дурное и каркает о нем? Я был скромн, как могила: это мой порок!

Сказать по правде, мне жаль, что здесь нет моей хорошенькой соседки. В последнее время я очень привык к Вареньке; я любил видеть ее довольной, счастливой, веселой при встрече со мною; я любил задумчивый, любящий взгляд ее темно-голубых глаз, когда, по праву сельской свободы, сидя вдвоем в саду, в теплый осенний вечер, я передавал ей свои убеждения или рассказывал пеструю повесть моей прошедшей жизни; а она слушала, пристально смотря на меня хорошенькими глазами, и, казалось, хотела спросить ими: неужели ты все это пережил и перечувствовал? и нет морщин на твоем челе! и нет в кудрях седого волоса! и весело можешь ты смотреть на вседневную жизнь! И слышно мне было неровное биение пульса в ее белой руке; и тешило меня ее детское удивление, и радовала ее первая любовь! Много, может быть, дней похоронил бы я еще в деревне, с моей соседкой! Много, быть может, хороших дней утратил я со своим отъездом! А всему виноват Островский: он своей насмешкой разбил мою иллюзию, и я ему много благодарен. И в самом деле, не смешон ли был я, ге-

рой в романе деревенской девочки?

Смешное, смешное! Вот бич, от которого бледнеет наше поколение, вот слово, которое убивает хуже чумы! От него одного кровь бросается мне в голову, и сожмется сердце со всеми тепленькими чувствами, холодно взглянет разнежившийся глаз и насмешливая улыбка ляжет на уста, лепетавшие нежный вздор!

А все таки жаль, что здесь нет моей хорошенькой соседки Вареньки!

На днях как-то у меня поутру собралось несколько человек знакомых. В это время мне доложили, что кто-то меня спрашивает. Я вышел в прихожую и увидел знакомое лицо Савельича; он низко поклонился и, пригладив рукою реденькие волосы с затылка на лысину, проговорил, как по выученному:

— Мавра Савишна приказали кланяться и приказали узнать о здоровье.

— Разве здесь Мавра Савишна? — спросил я.

— Вчерашнего числа изволили приехать, — отвечал Савельич, — располагают прожить здесь всю зиму и остановились на

Казанской, в доме Мордасова.

Я велел ему благодарить Мавру Савишну и сказать, что я сам скоро буду. Возвратясь к гостям, я услышал громкий смех. Мой приятель Островский, узнав о послании Мавры Савишны, уверял, что мы с ней в очень коротких отношениях, что Мавра Савишна влюблена в меня без памяти и что я не ношу других чулков, кроме ее вязанья, которые она мне дарит на память. Всех рассмешила шутка Островского, но другие стали делать намеки гораздо справедливее. А один бывший тут местный остряк заметил, что не хочет ли Мавра Савишна навязать мне что-нибудь и на шею. Чтобы прекратить этот разговор, я объявил им, что Мавра Савишна — моя добрая соседка, у которой я бывал очень часто в деревне, что она поступила очень любезно, дав мне знать о своем приезде, и в заключение прочитал им девиз английского герба, напечатанного золотом в моей шляпе. Догадливые тотчас же взялись за свои, и через час я был у Мавры Савишны.

Я нашел Мавру Савишну в хлопотах: она расставляла мебель и устраивала квартиру.

Знаменитый чулок ее еще не был вынут из дорожного ридикюля. У нее сидела какая-то старушка, вся в черном, что-то вроде приживалки, и, как кажется, вводила ее в курс городских новостей. Мавра Савишна встретила меня радушными русскими приветствиями и с особенной заботливостью и даже беспокойством расспрашивала о причине моего отъезда. Я поблагодарил ее за участие и поспешил ответить какой-то очень неопределенной отговоркой, потому что заметил в другой комнате Вареньку.

Варенька сидела на диване; возле нее был ее друг и наперсница Надежда П*, известная просто под именем Наденьки. Они сидели рядом, положив руку в руку, как прилично двум девицам, долго не выдавшимся и верующим во взаимную дружбу. Наденька эта недурна собою, но не в моем вкусе; она с большими претензиями, но более обещает с первого раза, чем дает впоследствии, потому что все в ней ложно, начиная с чувств и до косы включительно. За это, может быть, и не люблю ее, потому что она мне ровно ничего не сделала ни хорошего, ни дурного; вероятно, по закону

сродства душ и она меня терпеть не может.

При моем входе Варенька немного покраснела. Видно было, что она обрадовалась, но не хотела показать этого: я думаю, что Наденька не совсем выгодно объяснила ей мой отъезд и постаралась, сколько могла, восстановить ее против меня, потому что с видимым любопытством наблюдала за нами. Но я уверен, что на моем лице она ничего не прочла: дорого и трудно мне досталось это искусство управлять его выражением; но теперь я им доволен: оно, как хороший актер, играет все роли. Я, со своей стороны, наблюдал за Варенькой, потому что первая встреча — вещь в высшей степени любопытная: тут можно сразу прочесть все прошедшее и разгадать много будущего.

Встреча Вареньки имела претензию на холодность: она постаралась равнодушно кивнуть головкой и не подала мне руки. Но голос, которым была сказана ее первая незначащая фраза, выдал ее: он дрожал и имел особенный, свойственный внутреннему волнению звук. Услышав его, я бы имел уже право взглянуть торжествующим взглядом на На-

деньку, если бы позволял себе подобные глупости. Пока мы менялись обычными пустыми фразами, я сел против Вареньки и всматривался в ее лицо: оно почти не изменилось, только немного похудело, но черты его приняли более серьезное выражение и обещали бы мне более трудную борьбу, если бы борьба могла иметь место. Варенька, вероятно, тоже старалась сыскать во мне перемену, как это обыкновенно делается при встречах; потому что после минутного молчания, внимательно посмотрев на меня, она сказала:

— А вы несколько не изменились.

— Я никогда не изменяюсь, — отвечал я, — это мой недостаток.

— Хорошо, если бы все ваши недостатки походили на него, — сказала Наденька.

— А вы заметили и другие? — спросил я.

— И очень много! Иначе вы были бы совершенством, потому что недостаток, который вы признаете, очень похож на добродетель, и оттого я в него не верю.

— Из ваших слов, — отвечал я, — я вывожу два заключения: во-первых, что вы видите во мне много недостатков, во-вторых, ни одной

добродетели.

— Словом, настоящего демона! — заметила Наденька с насмешливой миной, намекая на данное мне еще в пансионе прозвище.

— Вы мне льстите, — отвечал я, — и я буду неблагодарен, если не скажу вам, что вы сегодня столько же напоминаете доброго духа, сколько я злого.

Наденька бросила на меня взгляд, который — да простит ей Бог! — имел явное намерение убить меня; но благодаря моей живучей натуре убийство не свершилось. Вследствие этой неудачи Наденька встала и вышла в другую комнату, оставив меня с Варенькой; а мне только этого и хотелось.

Минута была самая интересная. Варенька любила меня. Несколько месяцев назад я вырвал у ее девической стыдливости это признание, ни слова не говоря ей о своей любви; положение мое было прекрасное и давало мне огромное превосходство. Часто во время уединенной прогулки по темным аллеям доревенского сада, когда ее неопытный язык не мог удержать слов первой любви, которая так сильно ворвалась в ее еще новое сердце, Ва-

ренька останавливалась, горячая беленькая ручка ее сжимала мою руку и хорошенькие, полные любви, темно-голубые глаза вопросительно смотрели на меня и ждали страстного признания. В эти минуты покорной любви я любил, горячо любил Вареньку, но я никогда не отвечал ей словами; мой взгляд, мои ласки высказывали ей мою любовь, и она верила в нее; но мои уста упорно молчали. Я говорил ей про себя, про нее, но никогда про мою любовь, и, может быть, это-то несознание, эта-то недосказанность любви еще более заставляли любить меня. И вдруг я ускакал из деревни, не простясь с Варенькой, ничем не оправдывая, ничем не извиняя моего отъезда! Я поступил с нею как фат, которому надоела женская любовь, а между тем я вовсе не до такой степени пресыщен и избалован любовью, чтобы мог от нее бегать: напротив, я бежал только от смешного, от одной тени смешного. И вот мы свиделись с Варенькой и сидим друг против друга, и каждый желает разгадать мысли другого. Положение Вареньки было неприятно, но я молчал с умыслом: мне хотелось видеть, как она из него вывернется. Я бо-

ялся, что она не сладит со своей любовью и начнет чем-нибудь вроде косвенных упреков или жалобы: тогда бы она много потеряла в моем мнении. Но вышло не так: Вареньке, вероятно, пришла мысль, что я забавляюсь ее положением, потому что вдруг щеки ее вспыхнули, выражение задумчивости слетело с лица, она взглянула на меня несколько прищурясь и быстро проговорила:

— Вы так скоро уехали из деревни, что, кажется, забыли взять свою любезность, потому что мы минут пять как молчим.

— Кто много чувствует, тот не теряет слов, — сказал я.

— А! Это ново! Давно ли вы начали чувствовать?

— С тех пор, — отвечал я, — как узнал вас.

Ответ мой был бы пошл, если бы его нельзя было принять за насмешку; подумав, я бы не сказал его, но увлекся репликой, и мне было крайне досадно на себя, потому что он глубоко оскорбил Вареньку.

— Жалею, что я вас узнала! — с горечью отвечала она.

Я был благодарен Вареньке за этот ответ,

потому что он был вполне заслужен. Я был кругом виноват и готов бы был просить у нее прощения, если б я когда-либо сознавался в своей вине. Но это было бы не в моей натуре, и я хотел по крайней мере оправдать себя.

— Вы имеете полное право сказать это, — отвечал я с видом глубокого огорчения, — потому что наружность и истолкование Надежды Васильевны против меня; но вы несправедливы. Вам не поправилось мое молчание, потому что вы его не так поняли. Я слишком горд, чтобы оправдываться, и слишком самолюбив, чтобы напрашиваться на то расположение, которого, может быть, считают меня недостойным. Я был даже довольно деликатен, чтобы не напоминать о нем. Затем отдаюсь вполне на ваш суд, и, как бы ни был он для меня невыгоден, я никогда не обвиню вас.

Варенька слушала меня с удовольствием, потому что ей самой хотелось, чтобы я оправдался; может быть, она бы желала, чтобы оправдания мои были несколько яснее и определеннее, но за неимением лучших удовольствовалась и этими: хорошо иметь дело с судьей, у которого подкуплено сердце. Взгляд

Вареньки прояснился и развеселился, хотя черные брови из упрямства были еще несколько сдвинуты.

— Кто ж обвиняет вас! — сказала она. — Но я думала, что вы по крайней мере объясните ваш внезапный отъезд.

Я сделал мину по обстоятельствам и отвечал, пожав плечами:

— Что ж делать, так было надо!

Я люблю подобного рода ответы: они привлекательны своей неизвестностью и притом имеют то преимущество, что всякий может недосказанное истолковать по своему желанию. Впрочем, действительно, мне надо было уехать из деревни, Островский нарисовал мне такую уморительную картину моей будущности, что, сбудься она хоть в десятой доле, я был бы непростительно смешон. А куда я не убегу от смешного!

Нельзя сказать, чтобы мой ответ был весьма удовлетворителен, но Варенька знала меня: ей оставалось или примириться с моим деспотизмом, или отвергнуть меня. Она вздохнула и задумалась. Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы на самом интерес-

ном месте ее не вошла Мавра Савишна с Наденькой. Разговор пошел по другой колее: говорили о предметах серьезных — урожае, погоде, нарядах. Я был не в духе болтать вздор и через несколько минут начал делать гигантские усилия, чтобы не зевнуть перед Маврой Савишной, которая считала это верхом неприличия. К счастью, приехал один чиновник, который кланялся с особенным почтением и поэтому слыл за прекрасного человека. Отличительная черта его поклона заключалась в том, что он каждому кланялся поодиночке и делал из спины совершенное полукружие, причем закрывал глаза, что и придавало ему вид особенной почтительности. Когда очередь дошла до меня, я воспользовался минутой молчания, встал, поклонился и вышел, предоставляя чиновнику удивляться моей невежливости, когда он, медленно приподняв голову, откроет глаза и увидит перед собой пустое место.

Вообще я остался очень доволен этой первой встречей с Варенькой. Теперь наши взаимные отношения такого рода, что от них так же близко к короткости, как и к совершенно-

му разрыву. Я чрезвычайно люблю подобную неопределенность и жалею, что не начал службы по дипломатическому корпусу: я, верно, не был бы поручиком в отставке. К тому же эта неопределенность мне необходима, потому что я не решил еще, что мне делать с Варенькой. Наша деревенская короткость очень интересна, но ее станет ненадолго.

Мы скоро дойдем до той точки, на которой порядочные люди или разрывают, или женятся. Разрыв тогда будет труднее, чем теперь, а жениться я не намерен... Другой аргумент: мне порядочно скучно. Если я не буду занят Варенькой, мне будет еще скучнее; к тому же Варенька меня любит, и разрыв со мною очень огорчит ее. Спрашивается: благо-разумно ли будет обрекать себя на скуку, а Вареньку на печаль из одной боязни будущего?.. Это сцепление обстоятельств так запутано, что я решаюсь посоветоваться с Федором Федорычем.

Федор Федорыч — мой приятель, он со мной одних лет, имеет маленькое состояние и независимую должность. По этому последнему обстоятельству он никому не кланяется;

к чести Федора Федорыча, думаю, что если бы он от кого либо и зависел, то, вероятно, тоже не кланялся; но не знаю, служил ли бы он тогда. Федор Федорыч очень умен и потому часто позволяет себе говорить вздор; он очень дурен собой, и любимый предмет его — женщины; у него предоброе сердце и презлой язык; в характере его много мечтательности и увлечений, и, несмотря на это, он ужасный скептик и материалист. Кроме страшной лени, он не имеет ни одного качества, которое бы бросалось в глаза, а между тем я бы не хотел его иметь своим соперником. Мы не были с ним друзьями, потому что не верили в дружбу, но были большими приятелями, потому что уважали друг друга. И то сказать: мы шли с ним всегда по разным дорогам, но если бы сошлись на одной, то, наверное, были бы смертельными врагами!

Вчера, возвратясь домой со званого обеда, я нашел у себя Федора Федорыча. Были сумерки; снег большими хлопьями тихо падал на землю. Федорыч сидел у окна в кресле, положив на стул ноги. Когда я вошел, он протянул мне руку и принял меня как хозяин нецере-

МОННОГО ГОСТЯ.

— Давно вы здесь? — спросил я его.

— С час, — отвечал он.

— Что ж вы делаете?

— А вот люблюсь на вид.

— Да за снегом ничего не видно!

— Что ж делать! Зато весной отсюда вид чудесный.

— Хотите сигару?

— Благодарствуйте! Ваши, что для гостей, очень слабы, а собственно ваших я не хочу курить, потому что их держат только для себя.

— И для добрых приятелей, — отвечал я, подавая свою сигарочницу.

— Приятель приятелем, а сигара сигарой, — отвечал он. — Очень хорошо, если то и другое доброе: в таком случае их все таки надо беречь для себя, потому что для всех доброго не наберешься. Но я возьму вашу, потому что мне лень достать свою.

Затем он очень вяло протянул руку, взял сигару, попросил человека подать ему свечку, которая стояла сзади его на столе, и, закурив, стал смотреть на снег. С полчаса просидел он

так, не говоря ни слова, лениво куря сигару и пристально смотря на снег.

Бог ведает, какие мысли ходили в это время в его умной, прислоненной к косяку голове. Воображение ли взяло свое и рисовало ему какую-нибудь желанную, любимую картину его доброго и мягкого сердца; перевесил ли положительный и насмешливый ум и перебирал в карикатуре его друзей или рассчитывал приход с расходом, — не знаю. Верно только то, что он бы никогда не сознался в мечтательности и на вопрос, о чем он думает, назвал бы, во всяком случае, самый прозаический предмет. Я знал его слабость прятать сердце за ум, поэзию за существенность; мне даже нравилась в нем эта застенчивость всего задушевного, и потому я никогда его не допрашивал. Между тем я велел затопить камин и придвинул к нему два покойных кресла. Когда огонь вспыхнул, Федор Федорыч оглянулся, увидел меня, комфортно курящего у камина, с любовью посмотрел на приготовленное для него место, улыбнулся, зевнул, потянулся и лениво перетащил через комнату свою длинную фигуру.

— Вы умеете жить, — сказал он, опустившись в кресло и положив ноги на подушку.

— Не совсем, — отвечал я, — надо спросить вина, тем более что сегодня за обедом было прескверное, и я почти ничего не пил.

— Я бы похвалил вас за выдумку, если бы Пушкин раньше вас не усадил точно так же своего Онегина с Ленским. Вы умеете понимать поэзию, — сказал Федор Федорыч.

— Ну, мы с вами, кажется, не похожи на пушкинских героев.

— Что ж, они сами по себе, мы сами по себе. Опиши нас Пушкин, и мы были бы герои хоть куда.

— Я с вами согласен, — отвечал я. — Привести Чайлд-Гарольда, Онегина или Печорина, нарядить их в платье работы здешних портных, Водопьянова или Милоглазкина, и представить под другими именами, хоть той даме, которая бредит ими, и, поверьте, прожив год в одном с ними городе, она бы обратила на них внимания менее, чем на нас с вами.

— И была бы совершенно справедлива, — заметил Федор Федорыч, — потому что мы бы действительно стояли выше их, всем превос-

ходством наших петербургских портных перед здешними.

Посвятив себя в герои, мы успокоились и несколько минут молча попивали раулевское вино.

— Где вы сегодня вечером? — спросил я.

— В клубе. А вы?

— У Домашневых, я думаю; я еще не был у них вечером. Вы их знаете?

— Как же! Я помню Вареньку, когда она еще играла в куклы, а теперь и сама она готова в игрушки, — сказал, вздохнув, Федор Федорыч.

— Вам жаль ее? — спросил я.

— Очень! Потому что она будет забавлять вас, а не меня.

— Почему же меня?

— Да потому, что вы прежде явились. А у вас ее не вырвешь.

— Послушайте, Федор Федорыч, — сказал я, — я очень рад, что речь зашла про Вареньку: давно хотел с вами посоветоваться.

— Напрасно! — прервал меня Федор Федорыч. — Я никогда не даю советов, потому что не люблю принимать на себя чужую вину

впоследствии. Впрочем, вам советовать можно: вы человек умный и потому, наверное, сделаете по-своему; я слушаю.

— Я с вами буду говорить прямо, — продолжал я, — потому что обиняками вас не обманешь, и к тому же вы такой человек, что если вам скажут что-нибудь и по секрету, так вы и тут никому пересказывать не будете. Вот видите ли, я с Варенькой в таком положении, от которого весьма близко к короткости и разрыву.

— То есть она в вас влюблена, а вы в ожидании будущего отдалили ее от себя; я договариваю за вас, потому что вы хотели говорить прямо.

— Положим, что так, — отвечал я. — Сойтись мне с ней легко, но это ни к чему не поведет, потому что я на ней жениться не намерен; с другой стороны, я имею самолюбие думать, что разрыв со мной много опечалит ее; теперь вот в чем вопрос: должно ли жертвовать ею в настоящем из опасения худшего будущего?

Федор Федорыч расхохотался.

— Вы сделали этот вопрос таким гуман-

ным, как будто представляете его филантропическому обществу, — сказал он. — Мне вы могли сказать просто: если я теперь расстанусь с Варенькой, мне будет ужасно скучно. Если я буду ее завлекать для своей забавы, то могу впоследствии попасться в хлопоты. И потому следует ли скучать теперь из опасения большей скуки в будущем? На это я вам, пожалуй, отвечу, только скажите наперед откровенно: зачем вы меня спрашиваете?

— Вы несносны, Федор Федорыч! — отвечал я. — С вами непременно надо называть всякую вещь ее именем, иначе вы сами назовете. Делать нечего, принимаю ваше условие. Я спрашиваю вашего совета совсем не для того, чтобы ему последовать, потому что в делах чувств очень часто не слушаешь даже самого себя; но вопрос, который я вам предлагаю, очень любопытен. И в вас, и во мне, и в других из нашей братии, два человека. Первое: человек просто честный, то есть человек в абсолютном значении этого слова; второе: человек честный светский. Первый должен бы идти прямой дорогой к цели. Второй идет по тому же направлению, стараясь сколько можно

спокойнее для себя совершить путешествие, и потому иногда вынужден позволять себе маленькие отклонения. Завлекать молоденькую девочку ради собственного удовольствия, говоря откровенно, дело не совсем чистое; а между тем покойный Печорин, не смотря на то, что скомпрометировал княжну Мэри, был весьма порядочный человек. Вы мне не будете отвечать как педант, и потому мне ваше мнение будет интересно, как мнение светского и умного человека. Повторяю: я спрашиваю вашего совета чисто из любопытства.

После этого монолога я с удовольствием отдышался, закурил сигару, налил вина и приготовился слушать. Между тем Федор Федорыч обдумался и, преодолев обычную лень, отвечал:

— Вы меня ставите в весьма неприятное положение говорить то, что думаешь, и, что еще хуже, думать о том, что бы я впоследствии мог сам сделать не подумавши; охота же вам выводить на суд самого себя? Ведь здешние служащие вашему примеру не последуют. Чтобы ответить вам что-нибудь, я скажу, что, разложив каждого из нашей бра-

тии на два человека, вы много облегчили мою логику, тем более что сами же уничтожили одну половину и потому привели всех к одному знаменателю. Как человек просто честный, то есть не такой, каков я есть, я вам скажу, что завлекать девочку, хоть она будь и не княжна, а просто Варвара Александровна, вещь весьма безнравственная. Вы это и без меня знаете, потому тут и распространяться нечего. Светское мнение будет двойко: старухи, у которых десятки засидевшихся дочерей, старые девы — словом, все, что составляет грозный ареопаг, который неумолимо судит и рядит всякое слово, или, попросту сказать, сплетничает, вас беспощадно осудит, — осудит не по сознанию, а по привычке все осуждать. Эта каста до такой степени ложна и пристрастна в причинах, которые побуждают ее строго судить обо всех, что одного этого осуждения, будь оно даже совершенно справедливо, уже достаточно, чтобы извинить вас в глазах всего молодого, бойко живущего поколения. И это поколение, наша братия, наши близнецы, вскормленные и вспоенные одним с нами духом и началами, оправдает вас и бу-

дет искренно в своем приговоре. Каждый из них не бросит в вас камня, оттого что побоится попасть им в себя. Да и что ж, в самом деле? Вы дали Вареньке несколько слез, ту боль сердца, которая называется страданиями. Да ведь это страдания моральные, и относительные! Они зависят от раздражительности нервов и чувствительности сердца: какие это страдания! Это не кусок черствого хлеба, не жесткая скамья да продранное платье! Вот страдания, так страдания! Зато знаете ли, что вы делаете этим? Вы ее избавите от скуки. Боже, как это много! Вы ей доставите право говорить своим подругам и вам впоследствии, что вы разбили ее жизнь, что вы отравили ее лучшие верования, и прочее и прочее. Великое для девицы право! И, браня вас, подруги ее будут тайно думать: счастливица эта Варенька! И подруги ее будут правы, потому что вы ей дадите жизнь; и сама Варенька с наслаждением вспомнит пережитое время! А вы гордо будете скучать своим успехом, смеясь над мнением старух вместе с молодежью, которая вам будет завидовать, и смиренно вынося колкие замечания дам, которые сами

тайно пожелают быть вами обманутыми. Впрочем, все это вы сами знаете очень хорошо и прекрасно сделаете, если сделаете так, как сделаете, потому что, во всяком случае, вы будете правы, стоит только взглянуть на себя и заставить глядеть других с выгодной точки зрения; а это самая легкая вещь на свете.

— И это ваше мнение? — спросил я.

— Нет! — отвечал Федор Федорыч. — Мое мнение собственно то, что мы толкуем по пустякам, потому что все наши рассуждения ни на волос не изменяют того, что будет, и что не следует терять времени на вздор, когда в клубе ждет партия виста.

Федор Федорыч встал, пожал мне руку и, захватив мимоходом мою фуражку вместо своей, потому что она первая попалась ему под руку, ушел, кажется, в дурном расположении духа, лениво шаркая ногами. А между тем Федор Федорыч не любил карт и играл от нечего делать, всегда весьма равнодушно и неохотно, хотя громко проповедовал, что лучше их нет занятия в мире.

С его уходом я остался один у догорающего

огня и с пустым стаканом. Кажется, Федор Федорыч вместо моей фуражки оставил мне свое дурное расположение духа. Долго еще просидел я у камина, лениво переворачивая тлеющие головешки, и неприятные мысли сменялись в голове моей. Мне было досадно на свет, на наш людской, а не на Божий свет, за то, что добро в нем ходит об руку со злом, так что и не различишь их одно от другого; за то, что создал этот свет свои правила, над которыми сам же смеется; за то, что все в нем двулично, и стоит только переменить место, чтобы белое называлось черным, а черное белым. Мне было досадно и на себя, за то, что, понимая этот свет, у меня недостает энергии вырваться из его колеи и гордо пройти жизнь прямой дорогой, не огибая предрассудков, над которыми смеюсь и которым покоряюсь; мне было еще досаднее, что я в этом и нужды даже никакой не вижу. Мне было до того досадно на свет и на себя, что стало грустно. Я спростился одеваться и поехал к Домашневым.

Был час десятый, когда я приехал к Мавре Савишне. Она сидела на диване с тою же добродушной улыбкой; она встретила меня тем

же гостеприимным приветом, как и в деревне; на ней были и те же очки в серебряной оправе. Но городская жизнь уже коснулась ее своим воздухом: белый чепец ее был с пестрыми лентами, и вместо патриархального чулка она держала в руках роковые тринадцать карт.

Мавра Савишна играла вчетвером в бостон, по копейке фишку; председатель Уголовной палаты, совестный судья и еще кто то, служащий тоже по выборам, — все люди немолодые, небогатые и очень хорошие, разделяли ее удовольствие. Была тут еще какая-то барыня, одетая с большой претензией, которая при моем появлении встала и, несмотря на приглашение поужинать или хотя просто закусить, уехала, сказав, что пора уж на боковую, а не добрых людей беспокоить, причем, кланяясь, искоса посмотрела на меня. Я узнал ее: это была одна из того грозного ареопага неумолимых судей, про которых говорил Федор Федорыч. Страсть ее была в том, чтобы отпускать тонкие колкости и намеки. К несчастью, эти намеки большей частью были до того тонки, что их бы никто и

не приметил, если бы она сама же их потом не рассказывала. Она меня ненавидела, особенно за то, что я не обращал внимания на ее замечания: я ее презирал как злую, но бесильную болтуницу. Я был уверен, что она уехала только для того, чтобы намекнуть на мой поздний приезд и на другой день рассказать по этому случаю, какой я безнравственный человек и как она таки не утерпела и отделала меня. А я обрадовался ее отъезду потому, что мог сидеть с Варенькой, не подвергая ее пустым пересудам.

Варенька сидела в угловой комнате на диване и читала. Я пошел ей поклониться и сел с нею. Разговор начался с романа и продолжался городскими новостями. Он так же мало занимал ее, как и меня, потому что у из нас был в уме другой разговор, в сущности, быть может, еще более пустой, но гораздо более интересный. Мы дошли наконец до него, потому что бросили старую тему. Но никто не хотел начать другого, и мы оба замолчали: она — потому, что ей нельзя было начать, я — потому, что не хотел начинать.

Комната, в которой мы сидели, была толь-

ко что отделана: просто, свежо и с большим вкусом. В разрезе одного угла стоял виртовый рояль, в другом — угольный комфортный диван, на котором мы сидели, обставленный цветами; решетки из густого плюща окружали его с обеих сторон, и на арке, обвитой зеленью, с которой соединялись эти решетки, висел цветной фонарик. В раме из цветов и зелени, в розовом темном полусвете, молча сидела Варенька и была очень хороша в эту минуту; бледная рука ее нервически вертела попавшуюся ветку; уста были сжаты, как будто она боялась, чтобы из них не вырвалось невольное слово; черные брови немного сдвинуты, и холоден, бесстрастен был взгляд ее голубых глаз. Долго и с невольной грустью смотрел я на Вареньку: я решил оставить ее и мысленно расставался с нею, и, сознаюсь, мне было больно и жалко оставить ее. От магнетического ли влияния глаз, или нечаянно, она взглянула на меня, сначала мельком, потом продолжительно; наконец, взгляд ее остановился на мне и не отрывался. Грусть или невольное сознание вины читала она на лице моем, или разгадала она

на нем тяжелую печать пустой, бесцельно и бесплодно убиваемой молодости, и прежнее участие сильнее заговорило в ней, только кровь бросилась ей в голову, щеки вспыхнули, глаза блеснули, смутились. Я не выдержал, протянул ей руку, и взгляд мой глубоко и искренно просил прощения. Румянец ее вспыхнул ярче, глазки опустились; она с минуту колебалась, потом сжатые уста раскрылись.

— Вы очень злы, — тихо прошептала она, и рука ее упала в мою руку.

Я припал к этой руке и горячо целовал ее. Мне было досадно на себя, больно за Вареньку! Какая-то неопределенная забытая боль стеснила долго, долго дремавшее сердце и пахнула на меня первой молодостью. В эту минуту я много перечувствовал; но, Бог весть, была ли любовь между этими чувствами...

Я уехал от Мавры Савишны после ужина и был в таком добром расположении духа, что не отказался даже от грибков в сметане, которые у нее прекрасно сохранялись во всю зиму. Когда я проезжал мимо клуба, в нем еще были огни. Я зашел на минуту, чтобы посмот-

реть Федора Федорыча; но его там не было. Островский сказал мне, что он ушел рано и был во весь вечер зол и скупен. За это известие он взял у меня сто рублей, сказав, что забыл бумажник, потому что в нем не было ни гроша, и сел проигрывать мои деньги, а я поехал домой.

Лежа на постели, я разбирал пережитой день и остался крайне недоволен собой. Конечно, я очень мало сделал нового: я только возобновил с Варенькой те отношения, которые существовали в деревне. Но то было в деревне! Там мы были одни, там каждый наш шаг, каждую нашу встречу не следил неусыпный свет и не рассказывал встречному и поперечному в своих непечатных стоустых ведомостях.

А между тем, осуждая себя чуть не в слух, я должен сознаться, что у меня было так весело и тепло на душе, как давно не было; и я заснул сладко и спокойно, как должен спать младенец на груди матери. Странное создание человек!

По всем соображениям, я счастлив, совершенно счастлив и сознаюсь в этом, что боль-

шая редкость. Обыкновенно, мы ясно понимаем свое положение, когда выходим из него, и, только обратясь назад и обняв взглядом все пережитое, говорим: а славное тогда было время, я тогда был счастлив! Но редко бывает, чтобы человек сознавал настоящее и отдавал ему справедливость; это происходит оттого, мне кажется, что всякое происшествие рисуется нам памятью, как картина, списанная с натуры талантливым пером: нет тех маленьких физических неприятностей, которые отравляют ее; они забываются, сглаживаются и представляются воображением в каком-то неясном поэтическом свете.

Я привык строго следить за собой и беспрестанно анализировать свое положение. В самом деле, чего недостает мне теперь? Я люблю прехорошенькой девочкой и люблю ее, сколько могу любить; встречи наши не стеснены и, при малейшей склонности к обыкновенному порядку вещей, я даже могу увенчать любовь свою законным браком. Если к этому прибавить, что все догадываются о том, что я люблю, что мне намекают об этом, что меня бранят за это и мне завидуют; что, кро-

ме того, у меня теплый дом, хороший повар, доброе вино, очень мало долгу и трезвый камердинер, — сообразив все это, надо быть особенно взыскательным, чтобы не сознаться в совершенном счастье. Неужели, в самом деле, это счастье? Если так, то, Боже мой, какая скука быть совершенно счастливым!

Я скоро пережил весь маленький репертуар наслаждений девственной любви. Условные встречи, рукопожатия, тихое «ты», сказанное при сотне глаз, в ответ на почтительный поклон, и изредка безгрешный поцелуй, сорванный полунасильно, полусвободно с девственных уст, трепещущих, чтобы не подметил его чей-нибудь нескромный взгляд, — вот и все! Можно бы было увеличить его маленькой перепиской, да иногда скучно писать поздно вечером, когда хочется спать, и беречь письма в целости, для того чтобы возвратить их после разрыва. А впрочем, ведь это для меня только повторение задов. Я все знал наперед: вольно же мне было завести любовь с девочкой, да еще такой, у которой, кроме меня, есть другой и, к несчастью, глупый поклонник!

Должен сознаться, что вся моя выходка против счастья вообще и моего в особенности происходит оттого, что я сегодня провел прескучный вечер. Сюда приехал Володя Имшин. Ему с небольшим двадцать лет; года два назад он с честью окончил служебное поприще, выйдя в отставку с чином коллежского регистратора; он очень недурен собой и глуп, как и следует быть хорошенькому мальчику, потому что природа не дает всего вдруг, а каждому понемногу. По праву соседства, дружбы детских лет и юношеской любви он почти каждый день бывает у Домашневых и страшно надоедает и мне, и Вареньке. Нет ничего неприятнее, как быть с предметом любви, когда через два стула от вас целый вечер сидит глупенькое лицо, очень недовольное собой и вами, искоса поглядывает, вздыхает да еще корчит разочарованного и позволяет себе делать пошлые замечания. Захочется ли сказать теплое слово, согреться живым участием, снять на минуту холодную, бесчувственную маску, он тут как тут — немой, непризванный свидетель! Может быть и то, что без него бы мы надоели друг другу, что мы бы

расстались недовольные собой и еще более охлажденные к жизни или, что еще хуже, что мы бы целый вечер были глупы, как он: находят же иногда и такие минуты! Да все-таки ему-то до нас дела нет, и порядочный человек не должен мешать другому. Решительно, при Володе я не остаюсь ни минуты с Варенькой. Варенька часто бывает грустна; она даже похудела немного, и розовые ее щечки побледнели. Бедная Варенька! Я знаю, отчего грустна она! Прошло и для нее время первого увлечения, прошло это детское и прекрасное время, когда нужны только присутствие милого, ласковый взгляд да тихое рукопожатие. Жаль мне тебя, моя Варенька! Этого времени уже не воротишь, этот медовый месяц девственного сердца бывает только раз в жизни, один раз и в единственную жизнь! Как это мало! Как эта трава, которой имя не останавливает любопытного дотрагиваться до нее, — как нетронь-меня, которая свертывается от одного прикосновения иногда нежной руки, — твое сердце уже сжалось навсегда для первых светлых впечатлений! Оно может гореть пожаром страсти, но в нем не будет уже тихого ог-

ня первой любви, подобие которого в древности стерегли, как ты же, чистые девы! Не будешь ты более смотреть на жизнь из-под солнца и вместо светлой радуги увидишь только мелкие капли дождя! Жаль мне тебя, моя бедная Варенька!

Впрочем, что ж, всему своя очередь! За весной жаркое лето, за летом дождливая осень, а там и зима, холодная зима. Таков закон природы! А бывает еще иная весна, да хуже осени. Конечно, я отчасти причиной Варенькиной грусти, но будь не я — был бы другой, не все ли равно! Ведь не я же все это выдумал!

А дело в том, что Варенька видит, что ей чего-то недостает; она сама, может быть, и нескоро бы увидела, да у нее есть друг: на что же и друг, как не на то, чтобы подсолить под благовидным предлогом! Я говорю про Наденьку. Она нейдет еще против меня открыто, потому что знает мою силу у Вареньки, но, желая повредить мне, уничтожает понемногу ее иллюзии. А после я же буду виноват! Меня же назовет она убийцей ее верований! И мало теперь Вареньке того, что прежде составляло ее счастье: она уже не довольствуется

тихим и страстным шепотом вдвоем, в ее кабинете среди цветов и неясного полусвета; она уже не верит мне на слово, ей уже успели натвердить, что я играю ею, что я ее обманываю. Чем я обманываю ее? Разве я обещал ей что-нибудь? И вот она хочет доказательств любви, хочет, чтобы я любил ее при всех, любил днем в гостиной, любил вечером на балу. Как молода, как провинциальна еще Варенька! Не знает она, что так любят девиц только мальчики, у которых ус еще не пробился, да любят еще так иногда женщину, чтобы поскорее обмануть ее.

Дал бы я ей прочитать эти строки, да девицам большую часть умных вещей не дают читать; и к тому же я их пишу только для себя и ради собственного удовольствия; а узнает она все это из опыта на собственный счет, и то в то время, когда ей нечего будет делать из своего знания.

И вот мы дошли до той границы, на которой надобно остановиться. Идти назад — скучно, идти вперед — нельзя! Невозможно и оставаться в одном положении: в две недели надоешь друг другу до нестерпимости; поне-

воле пойдешь окольной дорогой и будешь колесить вокруг одного и того же места! Поневоле прибегнешь к маленьким страданиям! Они чрезвычайно хорошо поддерживают любовь; они не дадут задремать ей, и, если есть хоть капля любви, где-нибудь на дне сердца, они выжмут ее наружу, конечно иногда с несколькими слезинками. Да иначе и быть не может — на то они и маленькие страдания. Страдания! Показалось уж это слово в твоём каталоге, моя бедная Варенька! Правду, видно, писала мне про тебя в последний раз Лидия: «Ведь надобно же и ей когда-нибудь страдать. Ведь страдали же я ты и я!»

Да, и мы страдали! Да зачем же Вареньке-то страдать? Отчего же надобно страдать ей когда-нибудь? Неужели тот обречен уже на страдания, кто живет жизнью сердца? Если так, то не лучше ли задушить всю восприимчивость сердца в первой поре его развития и оставить его биться однообразным маятником в механизме нашего тела! Тогда бы, как бронзовый гигант, смело и покойно мог идти человек, от колыбели до могилы, и топтать неуязвимой пятой этих змеенышей — эти

страдания, которые отравляют лучшие соки нашей жизни. Тогда, пройдя отмеренное поле без сожаления к оставленному, равнодушно мог бы лечь человек в отверстый гроб, и умер бы он — не живя! Куда как весело! Нет, уж видно, коли жить, так и страдать! И нет жизни, если нет страданий! Грустный вывод!

Вот уже с месяц, как любовь наша питается маленькими страданиями. Они пришли не вследствие рассуждения, не как дело ума и расчета, а как необходимый путь любви, которая требует развития и берет косвенное направление, потому что ей прегражден прямой путь. Таков закон всего, что ложно и неестественно в основании. Человек создан из плоти и духа, и любовь его, как он сам, должна быть двойственна, для того чтобы составить полное целое. Вольно же было мне, глубокому мыслителю, так аналитически рассуждающему о любви, очень дурно применять ее на практике! Я всякому чувству нахожу очень хорошую причину, и это мне несколько не мешает делать глупости; сделав их, я подчиняю себя логическому разбору, нахожу причину глупости и остаюсь совершен-

но доволен: таково направление моего несносного ума! К чему, например, эта привязчивость, эта ревность, эти придирки, которыми мы преследуем друг друга, для того только, чтобы вытащить новое доказательство любви и потом на минуту и сладко примириться? Что за странная прихоть сердца — составлять несчастную любовь, тогда как у нас есть все условия для счастливой любви! В самом деле, нашу любовь можно назвать несчастной, потому что сумма маленьких страданий составит одно большое. У диких, необразованных людей есть нож, есть кровь, есть убийства и истязания. У нас, людей отполированных, нервы так раздражены, чувствительность так утончена, что мы не имеем нужды прибегать к таким сильным и грубым средствам: у нас есть другие мучения — невнимание, равнодушие, предпочтение и насмешка, убийственная насмешка! Вот орудия нашей казни. И, Боже мой, как иногда глубоко и тяжело страдает самолюбивый человек от одного неблагосклонного взгляда или небрежного ответа! Но, говоря правду, я не могу сказать, чтобы был очень несчастлив,

потому что в моем маленьком романе я лицо действующее, отнюдь не страдательное. Да и глупо бы было, если бы я выбрал себе другую роль. Но я, как хороший актер, часто увлекаюсь своим положением: прикидываясь огорченным каким-нибудь маленьким невниманием, ревнуя Вареньку с полным убеждением, что ревность моя неосновательна, я иногда до того усваиваю постороннее чувство, что в самом деле глубоко и истинно страдаю. Только эти страдания продолжаются недолго: возвратясь домой, я вместе с перчатками скидываю свое расположение, смеясь посмотрю в зеркало на свое побледневшее лицо и, свободно вздохнув, спокойно погружаюсь в мягкое кресло. Нет, видно, я не люблю тебя, Варенька! Видно, я тебя в самом деле обманываю! О чего же мне не удастся обмануть себя? Зачем внутри меня живет непрерывно неусыпный дозорщик, который открывает мне пружину каждого моего чувства, каждого моего слова? Неужели навсегда прошло для меня это золотое время, когда не нужно мне было рядить себя в чувства, как в чужие платья, когда они приходили сами по себе,

когда я жил и забывался жизнью! Вот она, жизнь ума, о которой я мечтал, когда жил сердцем. Вот она, холодная и спокойная жизнь, которая рассуждает над каждым шагом, владеет каждым душевным движением и знает причину и последствия каждой мысли!

Впрочем, сам же я виноват: теперь мне бы надо заниматься торговыми оборотами да, как говорится, устраивать свои делишки или отдаться честолюбию, и все было б на своем месте. А я еще гоняюсь за любовью да за чувством, хочу пожить еще сердцем, которое, я думаю, высохло, как пергамент или лицо моей семидесятилетней тетки. Когда я отвыкну от этой старой и глупой привычки?

Вчера, часу в третьем утра, я сидел дома, один, погрузившись в свое мягкое истертое кресло и протянув, по обыкновению, на стул ноги. Я был утомлен утренними посетителями. У меня были человека два-три бесцветных лиц. Они зашли ко мне так, чтобы только зайти к кому-нибудь, говорили так, чтобы только не сидеть молча, и надоели мне страшно так, потому что они всегда всем на-

доедают; должно быть, эти люди заразительны! Проводив их, я остался в самом дурном расположении духа, в том расположении, в котором они всегда находятся. Мне не хотелось читать, не хотелось думать, не хотелось даже и курить, однако же я курил, как и они, по привычке. На дворе было что-то тоже вроде моих посетителей: должно быть, они и воздух заразили, как и меня. Погоды как будто не было решительно никакой: не было холодно и не было тепло; не было ветрено, не было и тихо; на небе не было солнца и не было туч: просто и неба как будто не было, а было что-то такое бесцветное. Словом, подобной пустоты внутри себя и в воздухе, который имеет большое влияние на мое расположение духа, я давно не ощущал. Поэтому я ужасно обрадовался когда в этой пустоте заметил живое и интересное существо — Федора Федорыча. Он тащился, или, как говорится, трусил перед моими окнами на ваньке, сидя как-то вполоборота, потому что искал комфорта в полуразвалившихся жестких санях, в которых ему некуда было протянуть длинные ноги. Я послал позвать его и вскоре услышал по зале его

ленивую, шаркающую походку.

— Здравствуйте, Тамарин; что вы делаете? — спросил, входя, Федор Федорыч.

— Хандрю, — отвечал я, протягивая руку.

— Хуже занятия вы и не могли придумать, — сказал он, — и если зазвали меня, чтобы разделить его, так уж я лучше зайду в другое время.

— Нет, — отвечал я, — таких гостей, как вы я этим не угощаю. Оставайтесь, пожалуйста, обедать!

— Это другое дело, — сказал Федор Федорыч и положил свою шляпу.

— Хотите халат?

— Нет, я лучше пошлю за своим. Ваш слишком хорош и нов, а халат только тогда и имеет истинный комфорт, когда его обносишь до того что локти начнут протираться.

Я был совершенно согласен с Федором Федорычем, послал к нему за халатом и туфлями и не велел никого принимать.

— Что нового? — спросил я Федора Федорыча.

— Да нового ничего, кроме вас.

— Это как? Я, напротив, беспокоюсь, что ко

мне все начали страшно привыкать.

— Оно почти правда, но вы новы для тех, которые заметили в вас перемену. Вы очень переменились в последнее время.

— В самом деле? — спросил я, зевая, хотя это замечание меня очень интересовало и даже беспокоило.

— Да! — отвечал Федор Федорыч. — Не ручаюсь, заметили ли эту перемену другие, но я говорю за себя.

— Расскажите же, — сказал я, подавая ему сигару.

— Нет, мы лучше поговорим об этом после обеда. Сигара и интересный разговор портят аппетит, — отвечал он.

Я не противоречил и велел тотчас подавать обед.

После обеда, когда мы спокойно уселись с кофе и сигарами, лицо Федора Федорыча приняло немного насмешливое выражение.

— Над чем вы смеетесь? — спросил я его.

— Я должен вам покаяться, — отвечал он. — Давеча я увидел, что мое замечание вас интересует. Вы обедаете поздно, а я был ужасно голоден; рассчитывая на вашу мнитель-

ность, я нарочно отложил разговор, зная, что это единственное средство заставить вас изменить час обеда.

— Вы подметили мою слабую сторону и хорошо сделали, что воспользовались ею, — отвечал я, смеясь. — Это и доказывает истинно умно человека.

— Не совсем! — отвечал Федор Федорыч. Умный человек не сознался бы без нужды в своей хитрости.

— Однако вы мне за нее должны поплатиться вашим замечанием.

— Пожалуй; я вам говорил, кажется, что вы изменились в последнее время, и это справедливо. Вглядитесь пристальнее в себя и вы сами убедитесь! Вы побледнели, даже похудели немного, в обществе вы часто скучаете...

— Я всегда скучал, — прервал я.

— Может быть, но прежде вы терпеливее сносили вашу скуку и нисколько не выказывали ее. Вы не так веселы, как прежде, говорите мало, а если и говорите, то всегда непростительно зло, — словом, вы кажетесь влюбленным.

— Вот вздор какой!

— Да, я с вами согласен, что вы не влюблены, потому что я вас знаю; но другие могут это подумать, и очень основательно! В вас все признаки влюбленного.

— А что ж я в ваших глазах? — спросил я Федора Федорыча с недоверием человека, который сомневается, чтобы верно поняли его.

Федор Федорыч сделал мину доктора, который раздумывает о болезни пациента, протянул небрежно к столу допитую чашку кофе и опустил ее вместо стола на пол. Осколки зазвенели, и я невольно вздрогнул.

— У вас ужасно раздражены нервы, — сказал он, лениво опускаясь в кресло, как будто в самом деле поставил на место пустую чашку.

— Не угадали, — отвечал я. — У меня бие-ние сердца. Это моя давнишняя болезнь.

— От нервов, Тамарин, поверьте, от нервов! Впрочем, это болезнь всех, кто сильно чувствует.

— Так вы находите, что мне надо лечиться? — спросил я со свойственной мне мнительностью.

— Не мешало бы, — отвечал Федор Федорыч. — Да для вас нет доктора: ваша бо-

лезнь — светская болезнь, и тут доктор не поможет. И в самом деле, как он может вас лечить в кабинете, когда корень болезни сидит на мягкой кушетке где-нибудь на Казанской, в доме Мордасова, да читает новый роман, а думает о вас?

Я расхохотался.

— Значит, я не неизлечим, по-вашему?

— Нет, это пройдет со временем, — заметил Федор Федорыч серьезно. — Я бы вас вылечил скорее, да не хочу заводиться практикой: много хлопот; к тому же я наблюдаю общественные болезни по любви, а не по должности.

— А что бы вы мне прописали?

— Три визита в день к тем старухам, которые вас бранят и на всех сплетничают.

— Тогда бы у меня разлилась желчь! — заметил я.

— И то правда, желчь — болезнь самолюбивого человека, точно так, как биение сердца — болезнь человека чувствительного, но скрытного. Вы, наверное, страдаете и тем и другим, потому что это болезни нашего века.

Я переменял разговор, из опасения, чтобы

Федор Федорыч не открыл во мне еще каких-нибудь болезней нынешнего века. Когда он ушел, я, по свойственной мне мнительности, подошел к зеркалу и долго всматривался себе в лицо. Действительно, я нашел, что похудел в последнее время. Кроме того, я заметил в себе другую перемену. Я взял журнал и внимательно прочел его за последнее время. Я веду этот журнал, чтобы следить за собой. Если бы кто узнал это, то назвал бы меня эгоистом, и, может быть, не ошибся бы. Но я следую совету Пушкина, я сознаюсь, что для меня предмет в высшей степени любопытный и достойный изучения — я сам. Вот почему, несмотря на лень, я записываю все, что сколько-нибудь относится до моей внутренней жизни; и сегодня я был вознагражден за это. Я ясно увидел и проследил перемену в себе. Страницы, начатые под влиянием моей насмешливо скупающей натуры, изменили свой характер. Чаще и чаще в последнее время начали являться ребяческие выходки больного и раздражительного сердца. Одно успокаивает меня: эти выходки всегда оканчиваются холодным резонерством ума. Зна-

чит, есть еще время остановиться и успокоить мои бедные нервы, потрясенные маленькими страданиями. Нет, мало еще я закален жизнью: я не умею завлекать не увлекаясь!

7-го был бал в Дворянском собрании. Поутру я заехал к Вареньке и нашел у нее Наденьку.

При моем входе мне показалось, что Варенька немного сконфузилась, как дитя, пойманное в шалости; Наденька, напротив, была очень весела и протянула мне руку. После этой встречи я готов был прозакладывать голову, что против меня что-нибудь затевается, и когда я осмотрелся внимательно, мне тотчас бросился в глаза букет, который стоял в вазе на рабочем столике Вареньки.

— Откуда у вас этот букет, Варвара Александровна? — спросил я, подойдя к столу.

— Владимир Имшин прислал мне к сегодняшнему балу, — отвечала Варенька холодно. — Нравится он вам?

— Володя Имшин?

— Нет, букет.

— В нем более любезности, чем цветов, — заметил я, с сожалением посмотрев на связку

зелени, в которую были воткнуты одни месячный розан и несколько желтых цветков.

— Легче находить недостатки в чужой любви, чем догадаться сделать ее самому, — заметила Наденька, обратясь, по провинциальной привычке, к Вареньке, как будто ее слова не относились ко мне.

— Счастливы слабые умом! — заметил я. — У них всегда есть покровители, сильные духом. Но если этот букет завянет к 9 часам, как я надеюсь, — продолжал я, обратясь к Вареньке, — тогда у меня будет свежий для Варвары Александровны.

Варенька весело взглянула на меня и готова была, кажется, благодарить, но Наденька предупредила ее.

— А! Вы на... де... е... тесь, что он завянет! проговорила она протяжно, с ударением на первые слова.

Я увидел, что сделал маленький промах, но делать было нечего, и, рассчитывая на свое влияние над Варенькой, я отвечал с уверенностью:

— Я надеюсь на все, в чем убежден.

Но я рассчитывал без женской гордости и

присутствия доброй подруги, которой боятся более врага.

Варенька взглянула на меня, как на фата, который хвастается небывалой победой, и отвечала:

— Благодарю вас, мр. Тамарин! Букет Имшина так хорошо сохраняется, что я не буду иметь нужды в вашем.

Я боялся побледнеть от злости и потому счит нужным приятно улыбнуться. Затем я весело высказал глубочайшее сожаление, поклонился очень низко и вышел.

На дороге я повстречал вечно веселую и резвую Марию Б***, которую мы прозвали Марион, за ее красоту и свободную прелесть обращения.

Марион была, кажется, создана для того, чтобы возбуждать ревность. Ее свобода обращения в жеманном провинциальном кругу тотчас доставляла пищу языкам, и молва кричала про нового счастливец; но, в сущности, все мы выигрывали у ней поровну — и очень мало. Ухаживать за ней было в моде, и за ней ухаживали вес; но постоянного поклонника у нее не было.

Марион шла к бульвару под руку со своим мужем, блистая своей свежей красотой на утреннем морозе. Еще под влиянием живой досады, поравнявшись с ней, я остановился и вышел из саней.

— Держу пари, — сказал я, подходя к Марион, — что вы, увидав меня, думали, откуда я еду.

— Вы вечно воображаете, что все столько же заняты вами, как и вы собой, — отвечала она смеясь.

— Однако ж, я угадал.

— Совсем нет. Я думала, будет ли идти ко мне сегодня розовое платье.

— В таком случае, я вам проиграл букет из белых камелий.

— Ах! Да это было бы очень мило и чрезвычайно любезно; только вы их не найдете в городе.

— Это уже мое дело. В девять часов я привезу букет.

— А я вам дам мазурку. Хотите?

— Еще бы!

Затем она подала мне из муфты тепленькую руку, и мы расстались очень довольные

друг другом.

Возвратясь домой, я тотчас послал на почтовых за двадцать верст за букетом, к знакомому мне барину, у которого были чудесные оранжереи, а сам начал пить зельцерскую воду, потому что желчь беспокоила меня. Меня взбесил разговор с Варенькой. Как поставить меня в параллель с Имшиным и еще отдать ему, хотя и притворное, преимущество! Как меня, будь это из прихоти, будь это из ревности, оскорбить минутным унижением до Имшина, да еще в угоду злой девочке, которой я не терплю, и в ее же глазах. Как ставить на одни весы мое влияние с влиянием какой-нибудь подруги! При одном воспоминании желчь душит меня. О, Варенька! Ты не знаешь, как опасно играть моим самолюбием. Ты ребенок, оскорбила во мне ту струну, перед которой я сам раболепствую. Дорого заплатишься ты ей, моя Варенька, если тебе не удастся заставить молчать ее! Да где ж тебе это сделать? Конечно, тут более всего виновата Наденька и их глупая дружба; но зачем же поддаваться ей? А странная вещь эта дружба! Несмотря на все мое влияние на Вареньку, я

не могу разубедить ее, что между двумя девочками это чувство неестественное, что это просто взаимное обморочивание, средство для одной иметь влияние на другую. Так нет! Говорит, что я не понимаю этого чувства, что я скептик, что я ошибаюсь. А, просто на этих губернских барышень находит какое-то бешенство на дружбу. Увидятся во второй раз в жизни и уж ходят под руку, так что их водой не разольешь; уверяют друг друга во взаимной симпатии и расскажут про себя всю подноготную. Затем начинается переписка, обмен колец и браслетов, внутри коих вырезывается А* a son amie В*, год, месяц и число. Все это продолжается, разумеется, до первой кости, после чего следуют объяснения, чувствительные сцены, разрыв. Тотчас после этого выбирается с обеих сторон новая подруга: ей жалуются на старую, рассказывают все ее маленькие секреты, которые после этого отправляются по городу, — и опять та же песня!

Я не знаю, откуда взялась у наших барышень эта эпидемическая дружба? Молодая ли душа просится в ней наружу, или она своими переписками, клятвами и обменами имеет

для них прелесть безгрешного романа и хоть сколько-нибудь расцветчивает их однообразную, стянутую этикетом молодость?

Целый день я был занят тем, что пил зельцерскую воду да бранил про себя, за неимением слушателей, дружбу и делал на нее очень острые и злые замечания.

В девятом часу посланный мой возвратился и, несмотря на осьмнадцать градусов мороза, привез мне в целости чудесный букет; а в десять я поехал к Марион. Она была одета уже по-бальному и хороша по обыкновению. Букет привел ее в восхищение: и в самом деле, камелии в январе можно достать только для красавиц. Прелесть его рикошетом, должно быть, отразилась и на мне, потому что я никогда не видел Марион более веселой, любезной и снисходительной. Мы провели чудесные четверть часа в неумолкаемой болтовне, сидя друг возле друга в бальных туалетах. Бывают минуты, когда вдруг какая-то неведомая сила сходит на два чуждые существа и составляет между ними неосвязаемую связь. В чем эта сила, откуда проявляется она, не знаю. Навевает ли ее вид цветка, или за-

пах духов, или свежесть бального туалета, — словом, что-нибудь такое, что в былое время, при других обстоятельствах, играло роль в каком-нибудь эпизоде нашей жизни и безотчетно затрагивает в душе давно замолкнувшие, но когда-то сладко звучавшие струны, — только есть эта сила, которая возбуждает в нас симпатичность, ставит в доброе и странно приятное расположение духа. В эти минуты и говорится, и смеется, и весело на душе, и что-то тянет друг к другу. Под влиянием этой силы, мы провели превеселые четверть часа tete a tete с прехорошенькой Марион, и — каюсь в собственной слабости — я пал перед искушением и поцеловал ее руку; и она не отдернула ее с жеманством провинциалки, и не отдала ее равнодушно с холодностью светской кокетки, которая знает, что не стоит гнаться за такими пустяками; у подобных женщин я бы и не поцеловал руки; но в руке Марион были жизнь и теплота, глаза ее светились, и румянец сильнее заиграл на щеках. В это время из залы слышались шаги, и едва лицо мое успело принять приличное обстоятельством выражение, как в дверях пока-

залась чопорная и надушенная фигура мужа, в белом галстуке и жилете.

— Я готов, душа моя, — сказал он, обращаясь к жене. — А! Мг. Тамарин! Вы сдержали слово... какой чудесный букет! Признаюсь, я думал давеча, что вам трудно будет исполнить обещание.

— Напрасно ты думаешь, мой друг, — сказала Марион, таким тоном, который можно было принять за нежный упрек и за самую злую насмешку.

— Я имею привычку обещать что могу и выполнять что обещаю, — отвечал я.

— О, да, да! Я знаю, вы сделаете все, что обещаете, — сказал муж с улыбкой, в которой было неоспоримое убеждение, что он сказал что то чрезвычайно острое и тонкое.

— Я одного с вами мнения, Тамарин, — сказала Марион, — и напоминаю вам, что танцую с вами мазурку. Поедемте.

И мы поехали.

Бал уже начался. Звуки вальса объяснили нам, что присутствие начальницы города, до приезда которой балы не начинались, сняло печать молчания с оркестра. Директор, доб-

рый старичок, прекрасно играющий в вист, что не давало ему еще права на знание приличий, встретил Марион у дверей в темно коричневых, не первой молодости перчатках. Марион вошла, хороша как день, и «Странный шепот встретил ее явление: — свет ее заметил...», а муж ее самодовольно поправлял галстук и пошел кланяться всем наличным важным особам. Вслед за Марион вошел и я в круг танцующих, который широко раздвинулся перед нею. Несколько пар пронеслось мимо нас в вихре вальса, и между ними мой взгляд тотчас отличил Вареньку. Она была в белом платье, убранном цветами. Туалет ее был свеж и очень мил; сначала мне было досадно, что я не нашел в ней ни одного недостатка, к которому могла бы придраться моя желчная насмешка, но второе чувство было гордое самодовольствие. Мне приятно было думать, что это грациозное, молоденькое и миленькое существо, которым любовалась толпа зрителей, во всей этой толпе ищет только меня, одного меня. А между тем, опустясь на руку кавалера, легко скользя по паркету и склонив немного бледненькую, чем-то

отуманенную головку к правому плечу, Варенька неслась мимо меня, когда при повороте перед ней мелькнула моя фигура, рядом с Марион, которая не успела еще занять место; она быстро оглянулась, как бы желая удостовериться, не ошиблась ли, и торопливо сказала:

— Merci!

Кавалер спустил ее на первое свободное кресло, и я молча и холодно поклонился ей: в руке у нее был Володин букет. В это время прошла мимо нее Марион; она держала у розовых губ белые камелии и легко кланялась. Варенька взглянула на нее, побледнела и отвернулась.

Мне стало весело, и я пошел к знакомым дамам.

Бал был в половине. Музыканты фальшивили нестерпимо. Мой приятель Островский увивался около хорошеньких, не скупился на комплименты и блистал остротами, говореными им еще в Петербурге. Федор Федорыч, никем не занятый, довольно равнодушно переносил скуку и говорил только с теми дамами, около которых было свободное кресло. А

я был лихорадочно одушевлен и особенно и удачно весел. Мои эпиграммы были метки и остры, мои комплименты свежи и ловки. Мне захотелось быть первым между всей молодежью, и я успел в этом. Я не пропустил без внимания ни одной дамы будь она *sur le retour*; ни одной девицы, будь она зрелой де-вой; и дамы и девицы говорили обо мне: *il est charmant*. Я не оставил в покое даже стариков и старух: и старики и старухи были от меня в восхищении, тем более что ими я не имел привычки заниматься. И из всей этой толпы к одной не подошел я, одной не сказал ни слова, именно той, для которой все это делалось. Да, я все это делал для Вареньки, не для того, чтобы понравиться ей: это было не нужно, но по тому женскому кокетству, которое инстинктивно заставляет кружить сильнее голову поклонника, может быть, за несколько дней перед тем, когда его бросит.

Между тем заиграли четвертую кадриль. Это был мой кадриль *abonne* с Варенькой. Когда пары начали формироваться, я подошел к Вареньке. Она сидела рядом со своей Наденькой, которая что-то говорила ей; но Варенька,

кажется, ее не слушала.

— Это четвертая кадриль, — сказал я, слегка наклоняясь.

Она приподняла голову, и, я думаю, оригинальную группу составляли мы для того, кто бы захотел в эту минуту наблюдать за нами. Весело и свободно стоял я перед нею, и лицо мое не выражало ничего, кроме беззаботной веселости. Но приподнятая на меня головка Вареньки была полна выражения. Грусть и досада, кажется, просились в ней наружу, но она владела собою сколько могла и не допустила их выказаться. От этого тихий взгляд ей темно-голубых глаз был грустен; и между тем на бледных щеках обрисовывались две улыбающиеся ямки; это столкновение противоположностей придавало столько игры и выражения ее хорошенькому личику, что она, казалось, была взята из какой-то картины Сальватора. Но на первый взгляд Варенька просто казалась рассеянною: она молча смотрела на меня, и я вынужден был повторить мои слова:

— Это четвертая кадриль.

— Я думала, что вы забыли ее, — сказала

она, тихо приподнимаясь.

— За кого вы меня принимаете! — отвечал я тоном вежливого укора и повел ее в круг танцующих.

Островский был моим vis-a vis, и я устроил так, что он танцевал этот кадрили с Марион.

Когда Варенька встала на место, она, должно быть, догадалась, что я нарочно выбрал для нее это; она знала, что ничего не делается у меня без умысла и что я не упущу случая помучить ее. Варенька взглянула на меня без упрека, без досады; но взгляд ее задумчивых глаз был так грустен, так безропотно печален, что мне ее стало жаль! Если бы в эту минуту рука ее была в моей, я бы, может быть, был до того слаб, что пожал бы ее, но мы стояли чинно, поодаль, и я одумался. Я принялся за свою роль и повел тот пустой и пестрый разговор, которым находчивый кавалер занимает свою даму. Он был остер, игрив и неумолкаем; я не дал ей никакой возможности свести речь на близкую нам колею и целый кадрили продержал ее в этом положении. Варенька почти все время молчала. Будь на ее месте незнакомая дама, я бы нашел ее крайне нелюбезной, но

тут я обвинял ее только в том, что она не взялась за роль, которую я ей оставил; и то правда! если бы она стала говорить со мной тем тоном, которым я говорил с нею, — тоном бальной дамы, с неинтересным кавалером, — это бы значило принять разрыв. А Варенька, кажется, был далека от этого; она готова бы была сознаться в вине и какой-нибудь уступкой выкупить примирение; да поздно: мне уже порядком надоела эта комедия!

С последним ударом смычка я закончил фразу, отвел Вареньку на место и поблагодарил ее самым почтительным поклоном. Худо скрытое выражение досады промелькнуло на ее лице: надежды на примирение, по крайней мере в этот вечер, уже не было, и она, полная женской гордости церемонно и холодно отвечала:

— Merci!

Я отошел, но не так скоро, чтобы не заметить, как Варенька обернулась к Наденьке и сказал с досадой:

— Скажи ему, что я танцую с ним мазурку.

Бедная! Она оставляла для меня мазурку, на которую звал ее Володя!

Вслед за тем Наденька подозвала к себе Имшина, что-то сказала ему; он поклонился Вареньке и пошел по зале, с весьма самоодвольным улыбающимся лицом.

Мне начинала надоедать моя веселость. Я ушел в боковую залу, к играющим в карты, и просидел в ней до мазурки. Но когда заиграли ее, я вышел с новыми силами. Моя веселость сделалась прилипчива: она увлекала других, и мазурка была чудно оживлена. Я с Марион был в первой паре. Новая фигура сменялась одна другою; они были разнообразны и одушевлены. Казалось, и оркестр в нашей веселости почерпнул новые силы и играл бойко и весело. Бал вдруг оживился, как будто невидимая нить связала всех и передавала веселость одного другим; дамские личики разгорелись и улыбались, кавалеры стали ловчее и любезнее, и даже эта фаланга маменек, тетюшек и бабушек, которые обыкновенно молча и безжизненно сидят рядом, вокруг танцующей молодежи, как старые семейные портреты на стенах галереи, — даже эта фаланга странно зашевелилась, как труп от действия гальванизма, и какие-то мысли начали бро-

дить по ее морщинистым или гладко-безжизненным лицам. Говорите после этого, что нет силы воли, которая может двигать одним желанием посторонние лица, и что детская сказка предание об Орфее, заставлявшем плясать камни!

В один из коротких промежутков мазурки, когда другие пары делали фигуру, а из нас по какому-то чуду никого не выбрали, я позволил себе маленькую свободу молча отдохнуть возле моей дамы. Мы просидели так несколько минут, не в том беспокойном молчании, когда разговор истощится и с обеих сторон приискивают какую-нибудь фразу, чтобы поддержать его, но в приятном раздумье пары, немного утомленной богатством веселости и мыслей. Я повернул голову к моей даме и любовался ею. Лицо ее горело полным румянцем, и влажная кожа его была необыкновенно нежна; блеск и одушевление глаз потухали от утомления, как жаркий уголь, который начинает покрываться пеплом; черные локоны развились до плеч, и чудно изваянная грудь часто и заметно колебалась.

Какая-то ленивая нега напала на меня; в

эту минуту я бы ни за что на свете не взялся надеть на себя какую-нибудь маску или говорить не то, что думаешь: мне было так хорошо быть тем, чем я есть. Я смотрел на Марион с наслаждением, ее головка будто почувствовала мой взгляд и обернулась ко мне. Мы посмотрели друг на друга и не знаю отчего, оба улыбнулись.

— Послушайте, Тамарин, — сказала она, — у меня есть к вам просьба.

— Все, что хотите, — отвечал я.

— Вы то же скажете всякой даме; но я бы желала, чтобы это была не одна фраза. Говорите, пожалуйста, прямо.

Я посмотрел на нее: она была замечательно хороша.

— Извольте, — отвечал я. — Я вам сознаюсь, что не знаю почему, но вы сегодня имеете особенную власть надо мной, и я не знаю, чего бы я для вас не сделал.

— Я это заметила, — сказала она с самой кокетливой улыбкой, — и хочу воспользоваться случаем. Во-первых, мне нужна ваша откровенность. Скажите мне, вы в ссоре с Варенькой?

— Прежде нежели я вам отвечу, я должен объясниться. Вы хотите, чтобы я отдался в вашу власть безусловно. Я готов это сделать, но знаете ли почему? Я, в свою очередь, тоже заметил, что вы сегодня особенно хорошо расположены ко мне?

Я сделал этот ответ вопросом, и моя дама отвечала:

— Чтобы подать вам пример откровенности, я вам скажу правду: действительно, сегодня я... — Марион затруднилась в выражении, — я... ближе к вам, чем когда-нибудь и к кому либо.

Разговор принял такой скользкий оборот, что угрожал в самом начале кончиться весьма обыкновенным объяснением. Марион заметила это и торопливо прибавила:

— Теперь отвечайте мне: вы в ссоре с Варенькой?

Я посмотрел на Вареньку: она сидела почти против нас с Имшиным. Бал был в разгаре. Володя, кажется, был одушевлен им: улыбка расцветчивала его простоватое лицо; я уверен, что он говорил ужасные пошлости, а между тем позволял себе нестерпимо самодо-

вольный вид. Возле Вареньки сидела Наденька, по левую сторону своего незначущего кавалера, пересев нарочно, чтобы быть рядом со своей подругой; она произвела на меня впечатление пиявки, которая пристала к хорошенькому телу. Увидев Вареньку в этой обстановке, я даже не обратил внимания на нее; я не подумал, что, может быть, много бурных чувств колебало в эту минуту ее девическую грудь. Мне только стало страшно досадно на себя, что я вступил, хоть и не в трудную борьбу, с такими ничтожными существами, как Имшин и Наденька. Я был мелок в собственных глазах, и сердце мое сжалось, как будто мне нанесли кровную обиду. Холодно посмотрел я на Вареньку, и в одно мгновение я твердо решил бросить ее влиянию тех, чье влияние она мне оскорбительно противопоставила.

Все это было делом минуты; я обратился к Марион, и какое-то приятное ощущение овладело мной: как будто я смывал вину свою перед собой и возвышался в собственном мнении. Я весь отдался этому чувству и отвечал на вопрос ее со странной во мне откровенно-

СТЬЮ:

— Да, наша ссора не более каприза, потому что я имею самолюбие думать, что от меня зависит примирение. Но она прочна, потому что мне надоела эта игра в капризы.

— Я у вас не спрашиваю причин, — мне до них нет дела, — я только хотела убедиться в справедливости догадки. Мне показалось, что вы намерены за мной волочиться.

— Я боюсь влюбиться в вас, — отвечал я.

— Перестаньте! Вы видите, я говорю с вами прямо. Вы бросили бедную Вареньку и теперь хотите заняться мною от нечего делать. Вот вам моя просьба: не ухаживайте за мной! Это так обыкновенно и так мне надоело! Мне бы хотелось для себя, чтобы вы были лучшего мнения обо мне, и для вас, чтобы вы не впадали в эту пошлость. Вы не поверите, как это несносно быть вечно предметом преследования, беспрестанно защищаться от намеков на любовь да от напрашиваний, бояться сказать кому-нибудь доброе слово, чтобы его не истолковали сейчас в свою пользу. Право, иногда нестерпимо скучно быть хорошенькой женщиной.

После этих слов я почувствовал к Марион особенное уважение. В первый раз взглянул я на нее, как на женщину, а не как на хорошенькую жену ближнего. В моем уме живо представилось положение красавицы в нашем обществе, и я узнал, сколько было правды в словах ее. В самом деле, откинув мелкие забавы беспрестанно льстимого самолюбия, к которым можно привыкнуть до того, что они перестают даже тешить, как должно быть неприятно положение этого перла создания, к которому наша братия беспрестанно льнет, как муха к сахару, жужжит вечно одну и ту же избитую песню и добивается только унести немного сласти... Как должно быть невыносимо скучно быть вечно окруженной вниманием и любезничанием толпы поклонников и быть совершенно изолированной в этой толпе! Как должны быть мелки и приторны в ее глазах мы, маленькие ловеласы, с нашими маленькими страстями и маленькими объяснениями! Повторяю, я глядел на Марион с уважением; а она была хороша по-прежнему, еще лучше прежнего, потому что черные брови ее немножко нахмурились и

веселая улыбка проглядывала сквозь досаду, как иногда светлый луч сквозь живописную тучу.

— Вы совершенно правы, — сказал я, — и мне ничего не стоит исполнить вашу просьбу: я вас слишком уважаю, чтобы ухаживать за вами. Но, повторяю вам, я боюсь влюбиться в вас.

В голосе моем было столько убеждения и действительного страха; я, в самом деле, так боялся в эту минуту серьезно влюбиться в Марион, что она поглядела на меня большими любопытствующими глазами.

— Это странно! — сказала она, задумавшись. Я не понял, к чему относились ее слова, и продолжал:

— Что ж тут странного? Вы в состоянии внушить страсть; вы сами в этом сознаетесь; но я боюсь в этом случае не вас, не борьбы, не сопротивления: я выдержал не одну битву, и они не страшат меня, — я боюсь себя. Я боюсь быть рабом страсти, потерять власть над собой: тогда я в состоянии наделать глупостей и позволить водить себя за нос. Я буду смешон!

Марион невольно улыбнулась.

— Да, для человека с вашим самолюбием это действительно страшно, — сказала она. — Я понимаю вас; но не это мне было странно: меня поразило сходство нашей настроенности. Вы верите в симпатию?

— Да, с хорошенькими, — отвечал я серьезно.

— Знаете ли, что почти та же причина заставила меня начать этот разговор, и я уверена, что вы не истолкуете его в дурную сторону. Да, я тоже боюсь вас. Когда вы давеча перед балом сидели у меня, я чувствовала к вам какую-то странную симпатию, я была под вашим влиянием, потом одумалась, испугалась и решила говорить с вами как с умным и благородным человеком.

В эту минуту Марион мне до того нравилась своей милой откровенностью, что я готов был тотчас же объясниться в любви, чтобы доказать ей, что я совершенно ее понял. Но она продолжала:

— Я не буду говорить вам о долге замужней женщины, семейных обязанностях, собственном достоинстве: я знаю все, что говорится в этих случаях, и «за» и «против»; об

этом мне так нажужжали в уши, что скучно и говорить. Но я вам скажу просто: мы с вами не шестнадцатилетние дети, в нас страсть не вспыхнет от одного взгляда, и мы знаем, чего стоит она: раньше или позже от нее остается одно сожаление; а волокитству я не пожертвую собой. Так будемте же людьми, Тамарин: разойдемся, пока есть время, и останемся друзьями, которые уважают друг друга.

В словах Марион было много правды, в глазах и голосе много просьбы. Веселая мазурка гремела с хоров, и пестрые пары мелькали перед нами. А мы, полувлюбленные друг в друга, сидели и философствовали. Странные вещи случаются в наш век, когда ум и чувства испортились, как желудки, и требуют иногда такой пищи, которая покажется невесть чем здоровому человеку!

— Знаете ли, — сказал я, — что мы делаем с вами? Мы объясняем в прошедшей любви. Я теперь только могу дать себе отчет в этом. Согласитесь, что сегодня перед балом было несколько минут, может быть, несколько мгновений, когда мы любили друг друга.

Марион задумчиво посмотрела на меня и

тихо улыбнулась вместо ответа.

— Да, — продолжал я, — мы любили друг друга, и любили так, как в наше время не любят! На нас пахнуло той любовью, которую любят какие-нибудь аркадские пастушки, где-нибудь далеко, под вечно голубым небом, в тени душистых роц, среди стада беленьких барашков! Ее, может быть, принесли и навяли на нас белые камелии, с тех полей, где растет их вольная семья! Но мы не узнали этой любви. И что ж мудреного! Она была для нас странным, неестественным анахронизмом! А теперь, когда эта любовь улетела от огня свеч и шума музыки, мы увидели, что мы люди светские, да еще с характерами и самолюбием. Мы настолько возвысились ею, что поняли ничтожность волокитства, но недостаточно для того, чтобы принять страсть. И мы испугались ее, как и прилично порядочным людям, и начали отступать друг от друга... Может быть, все, что я вам говорю... чистый вздор! Но он очень хорошо объясняет...

— Замолчите, Тамарин, ради Бога! — сказала Марион. — Вы умеете создать чудесную мечту, — и едва прилепишься к ней, вы, как

назло, ее беспощадно разобьете. У вас воображение так сильно, ваш ум до того гибок, что вы заставляете верить и тому и другому. Слушая вас, всегда останешься в положении человека, которому показали две дороги: одну ровную и живописную, другую избитую и прескучную, и потом поставили на перепутье с завязанными глазами: не знаешь, куда идти, и поневоле отдашься вашему выбору, Я понимаю, отчего вас прозвали демоном, — сказала она с досадой, и на ее глазах чуть не навернулись слезы.

— Не все ли равно, — сказал я, — какой бы дорогой ни дойти до цели.

— Да, только вы всегда приведете к своей. Я невольно улыбнулся.

— Чтобы доказать вам противное, — отвечал я, — я принимаю вашу. Сказать по правде, я сам не знаю, что справедливо в моих словах. Но я думаю, что я сегодня действительно был влюблен в вас, потому что во мне осталась какая-то странная и приятная мечтательность. Что ж, вы справедливы: зачем разбивать мечту? Прозы и без того так много на свете! Мы провели сегодня чудесный день; на

нас пахнуло каким-то свежим, прекрасным чувством, после которого мы беседуем, как старые друзья. Отчего же не сберечь его как редкость, как отрадное воспоминание? Отчего же, в самом деле, не допустить, что нечаянно, по странной игре случая, среди светской, мелочной и расчетливой жизни, мы наивно любили друг друга, как дети, не успев сознать этой любви, которая не пережила свежести сорванного цветка! Что нам за дело, что, может быть, это мечта нашей фантазии, когда после нее останется между нами та дружеская откровенность, то теплое чувство привязанности, которые питает друг к другу отлюбившая и мирно разошедшаяся чета!

— Да, — сказала Марион, — какое, в самом деле, нам дело! И мы останемся так, Тамарин; зачем нам бояться друг друга и вести скучную борьбу, когда можно дружно и весело встречаться вместе. Не правда ли?

Марион весело улыбнулась, личико ее вновь расцвело, и она смотрела на меня светлым вопрошающим взглядом; а мне только этого и хотелось.

— Тамарин! Вам начинать, — сказал Ост-

ровский, подойдя к нам. — Вы так заговорились, что можно сделать нескромные догадки, — продолжал он, обратясь к моей даме и зло усмехаясь.

— Вы вечно с нескромными, да еще и неудачными догадками! — сказала Марион, вставая.

— За вами ответ! — продолжала она, делая тур, и голос ее тихо дрожал, как будто речь шла желанном, сердечном предмете.

— Счастлив, кто умеет закрыть книгу на ее лучшей странице! — отвечал я. — Я вам сказал уже, что ни в чем не могу отказать вам.

— Мерсі, Тамарин! — сказала Марион, сопровождая слова свои чудесным взглядом, между тем как рука ее тихо пожала мою руку.

Я не знаю, за что благодарила она меня: за ответ или мазурку, которая кончилась; но знаю только то, что пара внимательных темно голубых глаз следила за нами во все время разговора, и эти глаза не скрывали душевной тревоги.

Вскоре начали разъезжаться. Я проводил Марион до подъезда.

«Последний звук последней речи Я от нее

поймать успел; Я черным соболем одел Ее блистающие плечи...»

— Карета Домашневых готова! — закричал жандарм.

Я отступил от дверей, чтобы дать дорогу, так что меня не было видно. Осторожно прошла мимо меня Мавра Савишна, опираясь на руку лакея. Вслед за нею быстро проскользнула Варенька; салоп ее был распахнут на груди, и она была бледна как мрамор. Когда я сошел с места, мне что-то попало под ногу. Я нагнулся: это был завянувший Володин букет!

Мужчины остались ужинать.

Все уселись за отдельными столами; за одним — солидные чиновники, занимающиеся собственно ужином и разговором о делах, за другим — отставные франты, большей частью усаые и здоровые фигуры. С этого стола слышалось частое хлопанье пробок, нестройный разговор, со словами «пальма», «половой», «без угонки» и так далее. Был еще стол юных кавалеров, которые так часто встречаются на губернских балах. Это были все еще безбородые, не кончившие курс надежды семейства, довольно красивенькие лица, изыс-

канно одетые местным портным и пламенно добивающиеся четырнадцатого класса, чтобы иметь право предложить руку ей. Им очень хотелось поместиться с нами; но я, Островский и Федор Федорыч заняли маленький стол таким образом, что на нем не было места четвертому. Федор Федорыч жаловался на усталость, хотя сидел почти весь вечер; я усердно молчал, а Островский плотно ел, хорошо запивал и болтал без умолку. Наконец ему надоело говорить одному.

— Однако ж это скучно, господа! Вы точно наложили обет молчания. Положим, Федору Федорычу лень языком шевелить, а ты что затих? — спросил Островский, обращаясь ко мне.

— Некогда было говорить. Ты не давал времени.

— Вздор! Ты, верно, размышлял о какой-нибудь жертве? Не правда ли, Федор Федорыч? Федор Федорыч молча кивнул головой.

— Я не в тебя, — отвечал я.

— Кстати! Что это значит? Ты, кажется, начал находить, что брюнетки лучше блонди-

нок?

— Напротив! Блондинов стали находить хуже брюнетов.

— Марион, кажется, не этого мнения. Скажи, пожалуйста, где ты достал ей букет?

— Посылал к Ш* в деревню.

— А у Вареньки твой же был?

— Нет, от Имшина.

В это время человек подал нам три стакана шампанского.

— Кто прислал? — спросил Островский, протягивая руку.

— Владимир Иванович, — отвечал лакей.

— Вот легко на помине! Имшин, что с вами! Вы сегодня особенно любезны: дамам подносите букеты, а мужчинам шампанское.

— Ничего! Так! — отвечал Имшин, подходя к нашему столу. — Весело, так и пьется! А вы, Сергей Петрович? — спросил он, обращаясь ко мне.

— Благодарю вас: я не пью шампанского.

— Как же это можно?

— Как видите!

— А если б я вам предложил выпить за чье-нибудь здоровье?

— Я бы отказался: мне свое дороже всех!

— А чье бы вы здоровье предложили? — спросил Островский. — Злодей Имшин! Я знаю, сгубил он сегодня одно сердце и уничтожил кой-кого!

Имшин самодовольно улыбнулся.

— Где нам! Вот я люблю вас, князь. Вы никогда не отказываетесь. Федор Федорыч, вы за чье здоровье выпьете?

— За свое, — отвечал Федор Федорыч.

— Эгоисты! — сказал Островский. — Мы с вами не таковы, Имшин. Здоровье ее! Так, что ли? — И Островский подмигнул и усмехнулся.

— Идет! Чокнемтесь, князь! — И Володя протянул стакан.

— Пойдите, господа, — сказал я. — Это слишком неопределенно. Ее! Она! Это дурной тон, это водилось пять лет назад. Нынче люди откровеннее и не прибегают к местоимениям.

Имшин вопросительно посмотрел на Островского.

— Тамарин прав, — сказал Островский. — В самом деле, я могу пить за одну ее, а вы за другую ее. Определимте как-нибудь положи-

тельнее.

— Только без собственных имен, — прибавил Федор Федорыч.

Имшин был в затруднении.

— Ну... ну... за здоровье моего букета! — сказал Имшин, и лицо его прояснилось, как будто ему удалось вынырнуть из воды.

— Вот это дело! Каково придумал, злодей Имшин! Здоровье букета!

Островский чокнулся с ним, и оба залпом выпили стаканы.

— Теперь вы можете получить его, — сказал я, обратившись к Володе. — Он мне попался под ногу в швейцарской.

— Быть не может! — отвечал он, вспыхнув.

— Можете удостовериться! — отвечал я смеясь.

Имшин пробормотал что-то сквозь зубы, отошел от стола и немного погодя скользнул в двери потом он не возвращался.

— Разодолжил! — сказал Островский, протягивая мне руку.

Мы посмеялись и разъехались.

Я вынес от этого дня какое-то неопределенное чувство, похожее на отдых от сильной ду-

шевной усталости. Этим только я могу объяснить себе разрыв с Варенькой и странный разговор мой с Марион.

Меня утомили мои бесцельные и тревожные встречи с Варенькой.

Я был доволен, что покончил на время с нею, и очень хорошо сделал, что дал Имшину предлог сердиться на нее. Завтра у них будет объяснение. Она увидит, что была не права перед ним, и, по своей доброте, постарается любезностью загладить невольную обиду. Он истолкует это в свою пользу и вот завязка! Скучно только, что я предвижу ее, а то бы она заняла меня. Но нечаянное столкновение мое с Марион очень оригинально. В сущности, я остался ни при чем и даже отрекся от волокитства за нею на будущее время. Впрочем, отчего ж не разыграть иногда в несколько часов роман с безгрешной развязкой? Хоть вообще я не охотник до сладеньких сцен, но приятно иногда отречься от так называемых нечистых помыслов, в особенности когда надоедают хлопоты, с которыми они достаются, погрузиться усталой душой в ванну тепленьких ощущений и вместе с полными силами

вынести оттуда чистую привязанность хорошенькой женщины. Неужели я начал уже стареться!

Тетрадь из записок Тамарина (окончание)

Вот уже несколько недель, как я заболел. Именно это было с бала в собрании. Я тогда еще чувствовал какое-то странное расположение духа, а это было начало болезни. Болезнь была сложная — перемежающаяся хандра с примесью апатии. Постоянная хандра может продолжаться только несколько дней. В промежутках была апатия. Иногда все казалось мне в таком свете, что не хотелось бы ни на что смотреть; иногда я был до такой степени равнодушен ко всему, что, объяснишь мне тогда в любви хорошенькая женщина, я бы отвечал ей очень учтивой благодарностью.

Все это время я ничего не сделал, что бы стоило записать сюда. Виделся часто с Марион: она была нежна и заботлива, как со старым и больным другом; сначала мне это нравилось, но потом я привык к ее участию. Я хорошо вошел в свою роль с нею, и ей на пер-

вый раз выпал не очень завидный жребий — няньчиться с моими капризами; но — странная вещь! — она очень хорошо выдержала испытание и никогда не скучала им. Женское сердце чрезвычайно сложно: в нем бывают привязанности, которые не знаешь куда поместить, в разряд любви или дружбы. Она и во мне возбудила странное сочувствие. Я не люблю ее, а между тем невольно привязался к ней. Я не смотрю на нее как на хорошенькую женщину, — а между тем не будь она почти красавицей, она бы надоела мне. Какая же пружина движет это чувство? Неужели самолюбие?... Вечно самолюбие!

С Островским виделся я редко: его болтовня надоела мне, и он неохотно встречался со мной, потому что находил очень скучающего слушателя, который парализовывал собой его веселость, а иногда желчным словом давал очень невыгодный оборот его не слишком разборчивому остроумию. Федор Федорыч навещал меня. Мы с ним просиживали по целым часам молча, изредка перекидываясь пустыми вопросами, и расходились очень довольные друг другом. Но интересны были на-

ши встречи с Варенькой.

Я у Домашневых бывал редко, и то по необходимости, но встречался с Варенькой довольно часто, и ни одной встречи не прошло ей даром. Оттого ли, что в душе я был зол на нее, или это был просто каприз моей больной природы, только я находил странное удовольствие мучить ее. Мне говорили, что у меня есть на это особенный талант. Я умею всегда выбрать самую чувствительную, больно дрожащую струну, и, о чем бы и была речь, как бы ни была коротка встреча, я умею ввернуть беспощадное слово, которое, не понятное другим, жестоко ранит мою жертву в ее слабую струну. Так я преследовал и Вареньку. Иногда, видя, как она вздрагивала и бледнела от одного слова, как будто оно физически ранило ее, мне самому становилось и больно, и жалко; но через несколько минут, при первом случае, я не мог упустить, чтобы снова не повторить злой насмешки. Я оправдывал себя тем, что это вечное преследование заставит ее скорее позабыть меня. Не знаю, разлюбила ли она меня, но я уверен, что были минуты, в которые она меня ненавидела. А между тем я

много помогал успеху делишек Имшина. С одной стороны, мои беспрестанные преследования, которыми я восстанавливал Вареньку против себя, с другой — безответная любовь да советы подруги, и вот, в одно утро я был странно излечен от моей душевной болезни. У меня сидел Федор Федорыч. Разговор не клеился, моя хандра и апатия и его заразили, и мы очень равнодушно соглашались, что иногда жизнь действительно бывает ужасно скучна. Вдруг приехал Островский на своем орловском рысаке, разбитом на все ноги.

— Что ты делаешь, Тамарин? — спросил он, входя.

— Хандрю, — отвечал я.

— Хочешь пари, что я тебя вылечу?

— Сделай одолжение.

— Бутылку шампанского?

— Идет!

— Вели же подавать.

— Сперва вылечи.

— Поверь на слово.

— Пожалуй — для редкости, — отвечал я. Я велел подать вина.

— И три стакана, — прибавил Островский.

— Ты знаешь, я не пью.

— Будешь, — отвечал он и самодовольно погрузился в молчание.

Когда стаканы были налиты, Островский взял один и, обратясь ко мне, провозгласил:

— Поздравляю вас, Сергей Петрович, с помолвкой Варвары Александровны Домашневой с Владимиром Ивановичем Имшиным!

Признаюсь, эта новость была так неожиданна, что я готов был вскрикнуть от удивления. Но Островский смотрел на меня торжествующим взглядом, ожидая эффекта от своих слов, и даже Федор Федорыч, забыв лень, встрепенулся и с любопытством наблюдал за мною. Сердце сильно билось у меня, но я хладнокровно спросил Островского:

— Это городские новости?

— В том-то и штука, что это чистая правда, душа моя! — отвечал он. — Я сейчас был у Мавры Савишны, и она сама объявила мне об этом.

Тогда я взял стакан и выпил его залпом.

— Bravo! — сказал Островский. — Вот что значит радоваться чужому счастью! Верь после этого тем, которые говорят, что ты эгоист!

— Отчего же и не верить! — отозвался Федор Федорыч. — А я так убежден, что он тут в доле, и его содействие было нужнее согласия Мавры Савишны. Да чего лучше! Ведь он принял ваше поздравление, князь!..

— Поймали, поймали! — закричал Островский, хлопая в ладоши с непритворной радостью. — первый раз в жизни вижу, что Тамарин выдал себя! У Ахиллеса найдена пятка! Федор Федорыч, нам необходимо поздравить друг друга с открытием.

Островский долил свой и его стаканы и чокнулся с ним.

Я хотел разуверить их, но Федор Федорыч прервал меня.

— Князь, не давайте ему говорить, — сказал он, — а то он непременно вывернется, и честь нашего открытия пропадет ни за грош.

— Если вы обрекаете меня на молчание, — отвечал я, — так я лучше оставлю вас и поеду поздравить Мавру Савишну.

— Что дело, то дело! — отвечал Островский. — Тебе непременно надо ее поздравить с своей стороны. Ты ведь виновник торжества! Только боюсь, что она не догадается по-

благодарить тебя: стара стала Мавра Савишна!

— Островский, ты не великодушен, — сказал я. — Хорошенькая девочка, за которой я ухаживал, выходит замуж. Положим, что я жениться на ней не хотел, но все-таки неприятно... а ты еще надо мной подтруниваешь.

— То-то, брат! Ты со своей теорией сидишь сложивши руки да хочешь, чтобы по тебе молча страдали, а тут явится хорошенький мальчик, тает, тает, да в удобную минуту и предложит руку и сердце, и прощай теория. Эти хорошенькие мальчики очень опасны — нужды нет, что глупы!

Федор Федорыч посмотрел искоса на Островского и тихонько пожал плечами. В словах Островского была часть правды, если допустить, что страшны не мальчики, а их благородные намерения. Но я внутренне сознавался, что брак Володи с Варенькой если и не был прямо делом рук моих, то составилась под моим влиянием; я не хотел дать себе отчета в этом влиянии, боясь невыгодного для себя заключения, и невольно согласился с безмолвным мнением Федора Федорыча.

Через полчаса мы разъехались.

Я отправился к Мавре Савишне. Едва я вошел в гостиную и взглянул на нее, как убедился в справедливости слуха. Вся добрая фигура Мавры Савишны была проникнута какою-то торжественностью. На ней был чепец с пестрыми лентами и даже турецкая шаль. Чулок не только не лежал возле, но был изгнан из гостиной, и бедная собачка, по случаю торжественности дня, не допускалась на колени и, поджав хвост, с недоумением поглядывала на свою госпожу, не понимая, что не до нее теперь, что Мавра Савишна в этот день помолвила свою единственную, любимую дочку Вареньку.

У Мавры Савишны сидела та дама, с тремя взрослыми дочерьми, которая любит меня как сына. Она услышала о помолвке и приехала удостовериться в справедливости слуха. С приятной улыбкой на устах, объясняя Мавре Савишне, что она порадовалась ее радости, как будто пристраивала собственную дочь, она, однако ж, со вздохом прибавила, как иные браки бывают несчастливы, как не должно торопиться замужеством дочерей, и в

заклучение привела несколько весьма утешительных для Мавры Савишны примеров супружества, в которых муж с женой живут как кошка с собакой. В этом разговоре я нашел Мавру Савишну со слезами на глазах, слезами радости и боязни за участь своей Вареньки. Она объявила мне о помолвке, я ей поднес мое искреннее поздравление, а дама, которая любит меня как сына и говорила, что Варенька мне не пара, сказала с участием:

— Что, Сергей Петрович! Упустили, батюшка, невесту-то! А уж этакой другой со свечами поискать!.. Э, эх, молодые люди! Не умеете вы ловить свое счастье.

Я ей ответил, что за счастьем не угонишься, и поспешил выйти в другую комнату, потому что мне неприятно было оставаться в одной с нею, а добрая Мавра Савишна утерла слезу удовольствия и принялась благодарить нежную даму за любовь ее к Вареньке.

В другой комнате — той самой диванной, в которой месяца полтора назад, однажды вечером, при неясном свете цветного фонарика, окруженная цветами и зеленью, трепещущая Варенька повторяла мне свое «люблю», —

увы! в этой комнате та же Варенька, правда, немного побледневшая, но более серьезная и холодная, сидела рядом с Имшиным, который, по праву жениха, целовал ее руку. Это сближение обстоятельств произвело на меня тяжелое впечатление. Может быть, те же мысли в это время пронеслись перед воображением Вареньки; но она, как и я, глубоко за- таила их.

Прием Вареньки был немного холоден и принужден, хотя она не могла скрыть румянца, вспыхнувшего на ее щеках при моем появлении. Она, может быть, боялась, что мои сарказмы сильнее прежнего будут преследовать ее, но я был вежлив и добродушно-весел, как прилично радующемуся близнему: она не была уже моя Варенька, и я уважал в ней чужую... Вскоре приехала и Наденька — полюбоваться на счастье соединенных ею сердец; с любопытством посмотрела она на меня, и я стал еще веселее, еще добродушнее. Варенька немного конфузилась, когда речь касалась предстоящего брака; но я щадил ее деликатность, и она, кажется, в душе была благодарна.

Так я просидел все условное время визита, и моя бесцеремонная веселость оживила всех.

И добрая Мавра Савишна, проводив свою гостью, пришла полюбоваться на счастье своей парочки и была весела и говорлива. Но когда я мог уехать, не оставляя толков на счет краткости визита, я взялся за шляпу.

— Куда вы, Сергей Петрович? — сказала Мавра Савишна — А нашего хлеба-соли откусать, обрученных поздравить? У меня сегодня никого не будет, но вас я считаю своим: мы с Варенькой еще в Неразлучном так к вам привязались, что, право, любим, как родного; и вы должны разделить с нами нашу семейную радость.

Мавра Савишна говорила от души; искренность ее слов можно было прочесть на ее добродушном лице. Варенька глядела на меня застенчивым, полулюбопытствующим, полупросящим взглядом. Ей, кажется, хотелось, чтобы я принял эту роль близкого человека, чтобы с этой минуты я любил ее, но любовью родного, а не постороннего; но я не хотел обманывать ее. Я не хотел под маской одного

чувства искать другого: меня всегда возмущает такой приятель жены, который ищет дружбы мужа, и я никогда и никуда не втирался под чужим именем. Я извинился перед Маврой Савишной, сказал, что у меня обедают несколько знакомых, и уехал, не оставив своим приездом темного пятна на этой, может быть, немного грустной, но тихой семейной картине.

Однако ж надобно заметить, что я весь этот день был не в духе и страдал желчью. Впрочем, быть может, всему виной выпитый мною стакан шампанского, которое так вредно мне!

Еще две длинные недели, которые выкупил один оригинальный вечер.

Я был у Домашневых. Володя уехал в Москву делать закупки. Варенька встретила меня, как мы встречались в последнее время, — довольно холодно, но непринужденно. Эта непринужденность невольно давала мне мысли не совсем лестные для моего самолюбия. Мне казалось, что Варенька примирилась со своею участью и стала равнодушна ко мне. Но меня разубеждала подмеченная

мною черта Варенькиного характера: она никогда не делала из себя героини романа. Она любила, она страдала, она начинала привыкать скрывать свои чувства, но никогда не драпировалась ими. Убежденная опытом, что нельзя носить на лице всякое движение сердца, она если находила нужным таить что-либо, то таила крепко и не поддавалась мелочному кокетству натур средней руки, которые хотят, чтобы в них видели героинь, и потому стараются надеть как можно эффектно маску притворства, оставляя в ней приподнятый уголок, чтобы можно было догадываться о скрытом чувстве; за это я и любил Вареньку: это была чистая, прямая натура, грациозная в своей простоте и завлекательная по своей неподдельности.

Мы сидели вдвоем в диванной, но добрая Мавра Савишна вскоре нас оставила, потому что встретились какие-то затруднительные вопросы при шитье приданого, которые требовали ее личного разрешения и надзора. Мы остались вдвоем. Варенька сидела в углу дивана, я прямо против нее, на мягком кресле. Две свечи горели между нами на рабочем

столике и ясно освещали бледные, и спокойный черты Вареньки. Остальная часть комнаты, в которую свет пробивался сквозь решетки, обвитые плющом, тонула в полутемноте. Находясь под влиянием, может быть, разнообразных мыслей, не связанные этикетом и поставленные в ложное друг перед другом положение, мы после ухода Мавры Савишны хранили глубокое молчание, и тогда среди этого молчания разыгралась странная сцена.

Мне хотелось узнать, действительно ли и до какой степени охладела ко мне Варенька, и немного сблизить то почтительное расстояние, на которое разошлись мы. Я тихо встал, оперся одной рукой на столик, а другую молча подал Вареньке. Варенька взглянула на меня холодно, холодно, на ее лице как будто выразилось удивление, и только; она не пошевелилась, она не сделала никакого знака, который бы отвечал на мой призывающий жест, и равнодушно оставила меня в моей просящей позе.

Тогда у меня явилось непреодолимое желание пробить, если можно, эту холодную завесу, за которой скрыла Варенька свои задум-

шевные думы, уничтожить ее немое, но тем не менее сильное сопротивление. Не оставляя своего положения, я смотрел прямо в темно-голубые глаза Вареньки; сначала мой взгляд, как и жест, не произвел никакого впечатления, но потом смутил ее. Легкая краска выступила на ее щеках, дыхание стало чаще; она приподняла на меня глаза и тихо проговорила:

— Пожалуйста, не смотрите на меня так.

Но я молча продолжал смотреть на нее... Головка ее склонилась на грудь, она вся опустилась, как птица под стеклянным колоколом, из-под которого вытянули воздух, и вместе с тем рука ее упала в мою руку.

Я взял ее: она была холодна как лед. Тогда, сознаюсь, первым чувством моим был испуг: я думал, что с Варенькой сделалось дурно, и ни как не ожидал подобного результата. Я старался согреть в своих руках ее руку и с беспокойством спросил Вареньку, что с ней. Она приподняла голову и тяжело вздохнула. Я успокоился, оставил ее руку и с удовольствием опустился в кресло: взглянув на себя в зеркало, я увидел, что был бледен как полотно.

Несколько минут мы просидели молча; наконец Варенька первая прервала молчание и с упреком сказала мне:

— Что вы делаете со мною, Тамарин?.. Вы открыли новое средство мучить меня.

— Боже мой! — говорила Варенька, не обращаясь ко мне, как будто думала вслух. — Неужели я никогда не выйду из-под этого влияния? Неужели все мои силы будут вечно разбиваться о вашу волю. Я вас не люблю больше, я не хочу, не должна любить вас! Откуда ж у вас эта власть надо мною? Кто вам дал ее? Я молчал.

— Долго ли, наконец, вы будете мучить, преследовать меня? — спросила она, рассерженная моим молчанием. — Это несносно!.. Кто дал вам на это право?

Я посмотрел на нее, и в первый раз взгляд мой был не притворно-холоден, потому что в эту минуту я видел перед собой только светскую девицу, Варвару Александровну Домашневу, невесту одного моего знакомого, Имшина, которая в последнее время делает мне честь очень холодно встречать меня. Она мне грустно напомнила Вареньку, ту миленькую,

наивную деревенскую девочку, которая заинтересовалась мной, как ребенок сказкой, и влюбилась в меня, как дитя, — Вареньку, которая, увы, была для меня уже потеряна навсегда! Мне стало досадно. Я горько улыбнулся и начал говорить ей.

— Помните, Варвара Александровна, с полгода назад в Неразлучном, я приехал к вам однажды утром. Я знал уже, что правлюсь вам, что моя полуотжившая натура интересовала ваше юное воображение, как новая не читанная вами книга. Сознаюсь вам, мне льстила и меня занимала эта детская любовь, полная слепого удивления и преданности. Но я приехал к вам охлажденный обстоятельствами. Я отбросил самолюбие и высказал вам нагую истину. Я показал вам, как опасно для хрупкой, свежей натуры столкновение с полуотжившим человеком, как многого требует наша любовь и как мало дает! Я все вам высказал: тогда и вы меня поняли. Разговор наш был прерван приездом Ивана Васильича. Он мне отдал письмо; пока я читал его, вы были в саду, одна со своими мыслями; тогда было время раздумать и остановиться. Но я при-

шел, и как нашел вас? Вы страдали не оттого, что я вам высказал, не от боязни будущего, а от боязни, что будете лишены возможности испытать его. Я хотел выведать ваши чувства, и вы отвечали мне, с досадой девицы, оскорбленной тем, что ее считают за дитя: вы сердились на меня за то, что я хотел сберечь ваше детское сердце и не дать разбиться вашим свежим иллюзиям. Тогда... я... я принял ваш ребяческий вызов. Конечно, я виноват перед вами: я должен был лучше знать ваши силы и наперекор вам отказаться от вашей любви, но вы бы мне не простили этого... да имел ли я право щадить вас, когда вы сами не хотели вашей пощады? Вы были хороши, как распускающийся цветок!.. Я принял вашу любовь и отвечал на нее сколько мог... Тогда вы были счастливы...

— Да, я была счастлива! — сказала, вздохнув, Варенька.

— Потом мне встретилась надобность ехать...

— Скажите лучше, — прервала она, — что вам надоела любовь деревенской девочки. Вам предстояло другое развлечение, и вы бро-

сили ее, как ребенок бросает изломанную игрушку.

— Пожалуй и так! — сказал я. — Я не даю более, сколько обещаю. Да и как вы хотите, чтобы я умел щадить других, когда я не щажу никогда самого себя? Я приехал сюда, и вскоре вы приехали за мной...

— Да, — сказала Варенька с горечью, — притащилась сюда за вами. Я вытащила мою добрую старушку-мать... Конечно, я должна была надоесть вам! Я должна была потерять право на ваше уважение! Мне стыдно за самое себя! Но что ж делать, — прибавила она, — я не могла там оставаться одна, вечно одна! Это было выше сил моих...

Я дал ей высказаться и потом продолжал:

— Вы меня не поняли: я был бы низок, если бы упрекнул вас доказательством вашей любви.

— Я вас слушаю, — сказала она.

Я продолжал:

— Мы встретились здесь, но уже не теми, какими расстались. Наша ребяческая, немного смешная, но тем не менее прекрасная любовь была оставлена в темных аллеях Нераз-

лучного. Здесь нас ожидал свет, приличия. Здесь наша любовь, как и всякая любовь в свете, стала игрой самолюбия; и потому, мудрено ли, что здесь вместо наивной Вареньки и ее интересного поклонника, сошлись просто Варвара Александровна с Сергеем Петровичем! И любили мы, как любят в свете, — беспокойно, осторожно, часто подумывая, «что об этом скажут». И вот однажды вам показалось, что я не то чтобы мало любил вас, а мало показываю эту любовь. И не то чтобы вам самим это показалось, а вам намекнула добрая подруга. Ваше самолюбие было оскорблено — это понятно. Вам должно было показать самой более холодности, и мы были бы квиты. Но нет! Вы захотели большего торжества: вы захотели показать, что не дорожите мной, и по совету этой же подруги да из участия к одному страдальцу, который не боится, что в свете будут говорить про его любовь, вы мне дали соперника, да еще показали ему преимущество. Скажу вам откровенно, я человек самолюбивый и ужасно не люблю счастливых соперников, а особенно такого рода, с которыми и в борьбу вступать не лест-

но. Тогда, сознаюсь, я испугался и уступил ему поле без битвы, а вы, чтобы довершить его торжество, наградили его своей рукой.

Варенька молчала, но была в сильном волнении. Я сам начинал чувствовать какое-то беспокойство, но продолжал:

— Теперь все, что было общего между нами, пережито. Вы захотели резко отделиться от прошлого, и я безропотно повиновался вам. Я вас не упрекал, я вам не сопротивлялся; сходимся мы теперь как чужие, и встречи наши холодны, холодны, как ваши чувства ко мне.

Я посмотрел на Вареньку: она вздохнула.

— Но как вы хотите, чтобы иногда, сидя вдвоем, в той комнате, на том самом месте, где были другие встречи, высказывались иные чувства, — как вы хотите, чтобы прошлое не зашевелилось в душе и невольно не отразилось на нас. А вы говорите, что я преследую вас. Вы спрашиваете, кто мне дал право вас мучить, как я сохранил мое непрошенное влияние? Неужели в самом деле я и всегда я буду во всем виноват? Неужели во мне нет человеческого чувства и я вечно играю и

собой, и другими! Спросите самое себя и судите сами!..

Желчь волновалась во мне, и последний упрек был высказан мной от души. Варенька задумалась, воспоминания, которые я пробудил в ней, казалось, произвели на нее сильное впечатление: она сделалась мягче, доступнее и, немного помолчав, сказала:

— Может быть, я поторопилась осудить вас, может быть, вы не виноваты. Действительно, нельзя так скоро оторваться от прошлого; можно холодно встречаться; можно из близких сделаться чужими, но память о прошлом, все, что крепко привилось к душе, не скоро из нее изглаживается; я это знаю по себе, — сказала она, вздохнув. — Видите, я с вами откровенна, — продолжала она, — я сознаюсь, что мне тяжело, мне трудно расстаться с памятью о том, что было мило. Но жребий брошен. Мы не можем, не должны любить друг друга. Так расстанемся друзьями... Мы останемся ими, Тамарин, не правда ли? Вы единственный человек, которого я любила... и вы будете моим лучшим другом!

Варенька смотрела на меня так добро, так

приветливо! В ее взгляде было еще более просьбы, чем в словах. Она создала себе отрадную мечту и прилепилась к ней. Может быть, со времени нашего разрыва это была ее первая сладкая мечта! Но она была не в моем духе.

— Вашим лучшим другом после мужа! — докончил я.

Варенька опечалилась и затаила грустный вздох.

— По крайней мере вы исполните другую просьбу, — продолжала она. — Вы добры, вы благородны... если в вас осталось сколько-нибудь прежних чувств ко мне, то именем этого прошлого прошу вас, помогите мне забыть его. Видите ли, я говорю вам то, что бы должна была скрывать от вас, но я уверена, что вы не употребите во зло моей откровенности. И вам это будет так легко, Тамарин. Я вижу теперь: я вам никогда не была очень дорога. К тому же вы так хорошо владеете собой, вы так легко от всего отрываетесь. Зачем вам несколько моих лишних слез, несколько поздних сожалений?

Мне казалось, я слышал мою прежнюю Ва-

реньку: это была ее непритворная, простодушная речь, ее грустные и полные детского доверия слова. Мне было жаль ее, мне стало жаль и прошлого.

— Видно, я вас люблю еще, — отвечал я, — потому что не могу отказать в вашей просьбе. Но теперь, в нашу, может быть, последнюю откровенную беседу, я должен вам сказать несколько слов о себе: мне бы не хотелось расстаться с вами, оставив в вас те убеждения, которые вы сейчас высказали. Вы говорите, что я не очень дорожу вами, что я легко от всего отрываюсь. Почему вы знаете это, отчего вы это думаете? Потому что я не тешу моих приятелей рассказами о своих печалях, до которых им нет дела; что я не нуждаюсь в их утешениях, которые нисколько мне не помогут, и не возбуждаю сожалений, которые ненавижу? Потому что на моем лице нельзя прочесть моих дум: потому что я смеюсь, когда, может быть, грусть или досада шевелятся в душе? Странно, что вы до сих пор так мало узнали меня! И скажу вам больше: мне грустно, что вы предполагаете во мне одно дурное! Вы меня считаете эгоистом, — и не ошиблись;

но знаете ли, что в вас более эгоизма, чем во мне? Вы теперь думаете только о себе. Вы хотите, чтобы только вам было легко примириться с новым положением. Не правда ли? Но вы не подумали, как, может быть, грустно и больно отрываться от последней мечты, от последней иллюзии!

Вы не подумали, что трудно примиряться с душевным холодом тому, кто, может быть, в последний раз собрал весь бедный остаток чувств и доверил его вам, для того чтобы еще раз обмануться. Тяжело утрачивать первую веру в счастье, еще тяжелее — последнюю!

Я замолчал, потому что был сильно взволнован; я сам расчувствовался от своей сентиментальной выходки. Мне было грустно. Я взглянул на Вареньку: она была бледна, слезы выступили на ее больших темно-голубых глазах, но, казалось, какое-то тайное недоверие остановило их, и, не смея упасть, эти слезы повисли на длинных ресницах.

— Боже мой, что бы я дала, чтобы знать правду! — сказала она.

А трудно было узнать эту правду: я сам не знал, любил ли я Вареньку.

— Скажите мне, наконец, научите меня, что мне делать! — сказала Варенька, болезненно сжимая свои руки; и в ее дрожащем голосе, в ее страдальческом лице, в ее беспокойном взгляде выражалась страшная борьба недоверия и надежды, сомнения и решимости.

Я видел эту борьбу, и она отразилась во мне, она подняла со дна моей души группу смутных и противоположных чувств, между которыми я нескоро мог освоиться. Первое из этих чувств было за Вареньку: я хотел вполне примириться с нею, смыть своею любовью все огорчения, которые нанес ей в ее любви, освежить свое больное, измученное противоречиями сердце.

После долгих и скучных лет тяжелого одиночества робкой и себялюбивой души, которая вечно и беспокойно ищет созвучий, но, вызвав их, из пустой боязни смешного, как затронутый еж, тотчас щетинится и прячется в самое себя, — после этих невыносимо долгих и страшно бесцветных лет это был первый благородный порыв души моей... Может быть, в этом порыве отчасти было и желание

посмеяться над Имшиным, который, кажется, думает, что он в состоянии бороться со мной, может, также и другое желание — успокоить мое ненасытное самолюбие, оскорбленное последней холодностью Вареньки. Я не признавал тогда этих последних мыслей, но готов допустить их тайными двигателями, как охотно допускаю в себе все дурное. Как бы то ни было, в первую минуту я любил и готов был любить Вареньку; и что-то светлое и отрадное было в этой минуте! Второе чувство — это вечно противоречащее и вечно живущее во мне чувство, было мгновенно, но сильно. Оно мне живо развернуло скучную картину наших беспокойных встреч, длинный ряд толков и пересудов, которые могла бы возродить разошедшаяся свадьба. Оно мне сделало неизбежный вопрос: чем все это кончится? С невольным сожалением, как перед долгой разлукой с неверным свиданием, посмотрел я на расстроенную, беспокойно глядящую на меня Вареньку, и на вопрос ее, что ей делать, затаив тяжелый вздох, отвечал:

— Выходить замуж за Имшина.

И мои слова произвели на меня магиче-

ское действие, когда я вспомнил об Имшине, как о женихе Вареньки: мне показалось, что сожалеть о ней значит ему завидовать. Гордость моя возмутилась, и холод сжал зашевелившее сердце.

А Варенька еще несколько мгновений продолжала смотреть на меня своими влажными глазами, потом провела по ним рукою, как будто пробуждаясь от сна, и когда приподняла потом свою хорошенькую, но бледную головку, то глаза ее были уже сухи и холодное лицо спокойно.

— Благодарю вас, Тамарин, — тихо сказала она, — за то, что вы напомнили мне мою обязанность, а еще более за то, что дали узнать себя.

Я отвечал, что это не стоит благодарности, встал, поклонился и вышел.

Странное чувство я вынес от этого вечера! Что-то похожее на сожаление, что то грустное шевелилось у меня на душе, а между тем самолюбие мое было успокоено. Не от меня ли зависело разорвать свадьбу Вареньки?

Но страннее для меня то, что я остался как будто недоволен собой. Отчего бы, кажется?

Разве не все делается по моему желанно? А хотелось бы мне знать, чего желаю я...

Мужчины мне надоели страшно; Вареньку я не хотел видеть: встречи с нею бесполезно раздражали меня. У Марион, как нарочно, умерла тетка, и она уехала к ней. Остальные женщины в городе нисколько не интересовали меня, и я их охотно отнес к разряду мужчин. Я стряхнул пыль с моих любимых авто-ров и заперся с ними. Раз утром я услышал громкий разговор в моей прихожей.

— Дома Сергей Петрович? — говорил скоро-чей-то знакомый голос.

— Дома-с, да не принимают! — отвечал мой мальчик, тем нерешительным тоном, ко-торым обыкновенно отказывают наши лакеи.

— Отчего же это он не принимает?

— Не знаю-с; не приказали принимать.

— Да что же, может, болен он?

— Никак нет-с: здоровы.

— Ну, может, занят... а? занят?

— Заняты-с.

— Что ж он делает?

— Кофей кушают.

— Гм! Ну, а может, есть у него кто, а?

— Никого нет-с.

— Да ты врешь!

— Никак нет-с.

— Гм! Ну, и никого не принимает?

— Никого-с.

— Ну, а не говорил он на случай, что если дескать, Иван Васильич приедет, просить или доложить, что ли? Иван Васильич из Редькина! Знаешь Редькино?

Тут я позвонил и велел просить Ивана Васильича: мне почему-то вдруг захотелось посмотреть на его добрую фигуру.

— Ну, вот это по-приятельски, это по-нашему! — заговорил Иван Васильич, увидев меня, и только я успел протянуть ему руку, как услышал на своем лице его жаркое дыхание, и три неумолимых поцелуя звучно напечатались на моих щеках. — Ну, вот спасибо, что приняли! А то как, шутка ли, с полгода не виделись, да и не принять!

— Вы видите, Иван Васильич, что приказание не относилось к вам, но я вас никак не ожидал.

— Я так и думал! Очень, очень вам благодарен, что не забыли меня.

Иван Васильич сделал движение: я подумал, что он хочет снова облобызать меня, и подвернул ему свою сигару.

Он взял ее, несмотря на то, что никогда сигар не курил, и вертел в руках.

— Садитесь-ка, Иван Васильич; да не хотите ли лучше трубку?

— Позвольте лучше трубочку, — сказал он, осторожно сев в мягкое кресло и отираясь шелковым платком.

— Давно ли вы здесь?

— Вчера только приехал, Сергей Петрович, только вчера!

— По делам, вероятно?

— Гм... да, и по делам, а главное, правду сказать, хотелось побывать на свадьбе Варень... у Варвары Александровны...

— А скоро разве ее свадьба? — спросил я, и, не знаю отчего, кровь бросилась мне в голову.

— Как, вы разве не знаете? А еще в городе живете! Завтра, завтра отдадут ее, голубушку!

И круглое лицо Ивана Васильича исказилось какой-то весело-плачущей улыбкой.

— Да что ж вы здесь делаете, что и этого даже не знаете? — спросил он.

— Я сидел дома и никого не принимал.

— Что так?

— Был не совсем здоров, да и занимался.

— Гм; ногти отделявали или итальянские арии новые какие-нибудь распевали?

— И то и другое.

— А я к вам с поручением от Варвары Александровны, ведь я у нее посаженным отцом: она просит вас быть у нее шафером.

— Что это ей вздумалось выбрать меня? — спросил я, немного озадаченный этим неожиданным приглашением.

— Она говорит, что вас знает лучше всех из здешней молодежи и что ей очень хочется, чтобы вы именно держали венец над ней.

— А, в таком случае буду, непременно буду. Я сам поеду благодарить ее за честь.

И мы оба замолчали. Не знаю, почему я был взволнован.

К тому же меня интриговало желание Вареньки иметь меня своим свидетелем. Я не понимал этой прихоти выбора; он даже как-то неприятно отозвался в моем самолюбии; но я принял его охотно, как иногда в известной настроенности духа, охотно желаешь

встретиться с неприятностью.

Не знаю, о чем думал Иван Васильич; но он часто и звучно пускал клубы дыма, как паровозная труба, потом поставил трубку, вынул свой шелковый платок, отер им лоснящееся чело и долго свертывал его комком в руках.

— А знаете ли, Сергей Петрович, — сказал он наконец, — я, признаюсь вам, думал, что если мне придется быть на свадьбе Варвары Александровны, так увижу я вас там с ней, только не с венцом, а под венцом!

— С чего же это вам думалось? — сказал я смеясь.

— Да так вот, думалось, да и только. Ну, вот подите! Ведь как нашему брату влезет иногда какая-нибудь мысль в голову, так уж так в ней засядет, что и не выгонишь ее... и видишь, что по пустому живет, а калачом ее оттуда не выманишь! А жаль, — прибавил он, задумавшись.

— Отчего же жаль? — сказал я. — Чем Имшин не муж?

И я невольно усмехнулся. Иван Васильич заметил эту усмешку, и она, кажется, оскор-

била его за Вареньку.

— Да! — сказал он с большим, нежели в нем было, убеждением. — Действительно! Владимир Иваныч — прекрасный молодой человек, ведет себя не по летам: не пьяница, не игрок, не мот; конечно, не забросает он никого словами, не боек, да для семейного счастья этого и не нужно. Я рад выбору Варвары Александровны.

— Ну, вот видите, — сказал я, — вы столько насчитали достоинств в Имшине, что лучше его трудно и найти в мужья.

— Оно, конечно, действительно... оно трудно, — пробормотал Иван Васильич, видимо недовольный и тем, что нашел в Володе одни только отрицательные достоинства. — Да что, ведь с вами не сговоришь! — сказал он решительно, выходя из двух огней, между которыми поставил себя. — Вы всегда правы останетесь... а скажу я вам откровенно: прекрасный человек Владимир Иваныч, да для Варвары то Александровны мне бы еще лучше хотелось.

— Вы льстите мне, Иван Васильич, — смеясь сказал я, находя глупое удовольствие сер-

дить добряка.

— Нет, не льщу я, не умею я льстить, — отвечал Иван Васильич, — я не городской житель, не светский шаркун, а вот что скажут вам: человек вы умный, очень умный человек, да несметливый. Ничего вы дельного во весь век не сделаете! Пройдет у вас счастье, с позволения сказать, под носом, а вы и усом не пошевелинете, чтоб поймать его. Бог вас знает, лень ли вам, боитесь ли вы чего, только скажу я вам: вечный вы враг себе, Сергей Петрович!

— Ну что, льщу я вам? — спросил он потом; и улыбка весело пробежала по его открытому лицу, потому что он высказался и оправдался в собственных глазах. И мне весело было слушать его: я никогда не видал так добродушно излившейся желчи.

— Однако мне пора, заболтался я, а еще надо в Палату съездить... Вы на меня не сердитесь? — сказал он, живо вставая и протягивая мне руку. — А Варваре Александровне я скажу, что вы будете... так до свидания...

Я от души пожал его радушно протянутую руку, но прежде, нежели успел сказать ему

что-нибудь, как уже увидел перед собой плотно натянутую спинку коричневого фрака, с раздвоившимися фалдами, и круглая фигурка Ивана Васильича, живо колеблясь с ноги на ногу, быстро исчезла.

Я остался в раздумье, с улыбкой на губах и неясными мыслями. Очнувшись, я нашел себя в дурном расположении духа и, признаюсь, пожалел, что не оставил Ивана Васильича рассуждать в передней с моим мальчиком. Потом я спросил одеться и отправился к Мавре Савишне, но не застал ее дома: сказали, что она уехала с Варенькой верст за пять в монастырь, помолиться чудотворной иконе. Тогда я пустился по знакомым и полгороду показал свою веселую и очень довольную собой фигуру.

А без меня заезжал, говорят, ко мне Имшин и просил по обязанности шафера распорядиться на его свадьбе. Вот что называется в чужом пиру похмелье!

Отдали ее! Отдали Вареньку!.. Что за вздор! Кто ж отдал ее? Сама вышла! Вот как это было.

В восемь часов вечера я приехал в дом

Мавры Савишны. Он был освещен, но пуст; в гостиной был разостлан ковер, двери во внутренние комнаты затворены.

Меня встретил Иван Васильич, который одиноко прогуливался по зале и гостиной.

Боялся ли он, что я сержусь на него, или подшепнул ему его добрый инстинкт, что мое положение в настоящем случае вовсе незavidно, только он все вертелся около меня, и заглядывал мне в глаза, и страшно надоедал своей внимательностью.

— А невеста? — спросил я.

— Одевают-с, одевают ее, Сергей Петрович! — отвечал он как-то жалобно и при этом опять посмотрел мне в глаза.

Я отвернулся, зевнул и усердно замолчал. Иван Васильич, видя, что со мной делать ему нечего, начал передвигать свечи и ногой поправлять ковер. А у косяка двери стоял Савельич, в черном неуклюжем фраке, и приглаживал с затылка на лысину свои длинные седые волосы.

Через четверть часа скучного ожидания растворились внутренние двери, и хлынула толпа девиц с розовыми, улыбающимися ли-

чиками и влажными глазами. Вошла и Мавра Савишна. Глаза ее были красны от слез: она мне ласково поклонилась, но ее обыкновенно радушно-говорливые уста были замкнуты грустью и волнением. Вслед за ней вышла и Варенька.

На ней был обыкновенный свадебный наряд. Белый вуаль падал на белые плечи, и на русой головке дрожал веночек — символ невинности. Варенька была бледна, но спокойна. Она не плакала, но по временам слезы выкатывались и падали из темно-голубых глаз.

— Благодарю вас, Сергей Петрович, что вы не отказались быть моим шафером, — сказала она, увидя меня.

— Мне надобно благодарить вас за доставленный случай быть свидетелем вашего счастья, — отвечал я.

Она повернулась и села как усталая, а я стал между девицами и в первый раз в жизни не принудил себя быть любезным, когда должно.

— Вы что-то невеселы, Сергей Петрович, — сказал около меня какой-то сладенький, тоненький голос.

Я обернулся и увидел Надежду П*. Она глядела на меня докрасна натертыми глазами и силилась придать им выражение растроганного добродушия.

— Чему ж мне радоваться? — спросил я.

— Однако ж неотчего и грустить, я думаю, — заметила она.

— От этого я и не грущу, — отвечал я; но Наденька не хотела отстать и, казалось, дала себе обет надоесть мне до невозможности.

— Впрочем, на меня ведь свадьбы тоже всегда производят неприятное впечатление. Грустно видеть девицу, которая отрывается от дому, от матери и вступает в новую жизнь, где еще Бог знает что ожидает ее! Не знаю отчего, но я всегда смотрю на невесту с сожалением.

— А сознайтесь, вам очень бы хотелось быть невестой, — сказал я, не утерпев, и прямо посмотрел ей в глаза.

— Вы нестерпимы! — сказала она, отворотясь и уходя от меня.

Мне давно хотелось ей сказать то же самое, но я был скромн и ограничивался одним желанием.

Вскоре приехал шафер жениха, молоденький мальчик, бывший сослуживец Имшина, и объявил, что он в церкви. Тогда стали благословляв Вареньку. Сперва благословила ее Мавра Савишна, и, приняв благословение, Варенька упала в ее объятия, и обе зарыдали.

Отчего рыдали они? К чему этот безотрадный болезненно разрывающий душу плач? Уж не грустное ли это предчувствие чего-нибудь недоброго?

Мне было досадно смотреть на них! Одна выходит замуж по своему выбору, другая отдает дочь по своему желанию. Расставаться им не приходится, а плачут, плачут, как о покойнике!

Кто ж этот покойник? Ты, девичья воля? Ты, запрещенное право отдать любому свое сердце?..

Будущее! Таинственное будущее — вот что пугает вас! Вот что, как детей, заставляет вас плакать! Неужели оно так страшно? Я не знаю... я давно не вижу его перед собой!

Слезы, как и смех, заразительно действуют на нервы. Мне был непонятен, мне досаден был плач Вареньки и ее матери, а между тем

я крепко закусил губу, чтобы удержать непрошеную слезу.

Потом благословил Вареньку Иван Васильич и, прощаясь с ней, в буквальном смысле слова, облил слезами ее руку.

Потом она простилась со своими подругами, и подруги ее, все в белом, оплакивали ее, как весталки ту неосторожную, у которой потух священный огонь...

А двум из этих весталок было под тридцать, и многим давно и сильно хотелось потушить свой огонь!

Когда Варенька прощалась со своей Наденькой, я удивился, как не обжег ее иудин поцелуй этого друга!

И, простившись, девицы, как резвая стая передовых птиц, поспешили в церковь.

— Не забудь дернуть за меня скатерть, когда будешь вставать из-за стола, — уезжая, шепнула Наденька своей подруге-невесте. Они уехали, и нас осталось немного. Варенька села и спросила себе стакан воды; она так устала, бедная! Я подал ей его; она выпила, успокоилась и сказала мне:

— С вами, Тамарин, я прощусь с послед-

НИМ.

— К чему прощаться: мы еще увидимся, — отвечал я.

— Нет, вы уж не увидите больше Вареньки! — тихо сказала она. В это время доложили, что подана карета. — Ну, теперь прощайте, Тамарин! — сказала она, подавая мне руку. — Прощайте! — И голос ее вдруг задрожал.

Я наклонился и поцеловал ее руку. Но меня страшно поразил холод этой руки: мне показалось, что она была мертвая! Кровь прилила у меня к сердцу, и, когда я приподнял голову, я, должно быть, был страшно бледен.

Варенька взглянула на меня и грустно улыбнулась. Мы поехали в церковь. Вареньку повезла одна почтенная дама, которая была посаженной матерью. Храм горел огнями и был полон народу. Я вошел вслед за невестой и с любопытством наблюдал за нею. Она была спокойна, но бледна и холодна как мраморная. В лице у нее не было ни кровинки, только резко обозначились синие жилки, да белый венчик дрожал на голове.

Клирос запел приветственную песнь, и как голубица прошла Варенька к налою между

двух стен расступившейся толпы, и одобрителный шепот пробежал по этой толпе. Началось венчание.

Варенька первая вступила на подножие, но свеча ее сгорела больше, чем у жениха.

Я не знаю, нервы ли мои были расстроены, или их раздражила грустная сцена прощания, которой я был свидетелем, только все, что я видел в этот день, всякое незначительное происшествие как-то резко ложилось на мое воображение и болезненно потрясало его. А между тем я обменял кольца четы, я все время держал венец над Варенькой.

Наконец все кончилось. Пошли обнимания, целования, поздравления! Все лица прояснились; те, которые навзрыд плакали за полчаса, теперь весело и радостно улыбались. О чем сокрушались они тогда! Чем они так довольны теперь? И их радость сердила меня, как сердили их слезы!

Все приехали в другой дом: Варвара Александровна Имшина была хозяйка этого дома.

Все в ее новом жилище было хорошо: просто, комфортно и мило; видно было, что женский, но предусмотрительный и вниматель-

ный взгляд позаботился обо всем.

Мавра Савишна была тут в гостях; она говорила: «Пусть их обживутся одни, узнают друг друга, а я перееду к ним после».

Приглашенных было много: вся губернская знать и, по заведенному порядку, все значительные должностные лица. Было и дам много; но девиц тут не было... И неловко было положение молодой, и она как-то робко посматривала вокруг, и как будто с грустью искала глазами оставивших ее подруг.

А тут еще докучные остряки, со своими плоскими намеками да двусмысленными улыбками!

Было всякое угощение, а потом и ужин; пили здоровье каждого порознь, и всех вообще... пили и мое здоровье! Как будто им было нужно оно на что-нибудь! Наконец все стали разъезжаться. Сначала Варенька, казалось, была довольна этим: ее так утомила тревога дня! Но потом, когда незнакомые ей комнаты начали пустеть, и реже и реже был круг близких ей людей, она становилась задумчивее и печальнее. Уехал и Иван Васильич. Пришлось наконец ей проститься и с Маврой Савишной;

и тут они немного опять поплакали.

Оставался я один, благодаря моей обязанности шафера и весьма плохого и ленивого распорядителя; и, признаюсь, по какому-то странному капризу я рад был случаю подолее не уезжать. Но наконец и я должен был ехать. Когда я подошел проститься с молодыми, Варенька, как будто поджидая меня, стояла грациозно, положив руку на плечо своего мужа. Володя был румян и доволен как нельзя более; он от души благодарил меня; он был, казалось, так счастлив, что любил и меня! Варенька была рассеянна; но когда я поклонился ей, она мне весело подала руку; глаза ее оживились, и мне показалось, что в них блеснула горькая и злая насмешка...

В эту минуту я дорого бы дал, чтобы бросить при ней всю ее прежнюю любовь в довольное лицо ее мужа!

Я вышел, и они остались одни...

И теперь, когда давно спит весь добрый люд и только одни петухи горланят на дворе соседа, я сижу одни и нахожу болезненное наслаждение перебирать и записывать происшествия этого дня. Отчего же не спится мне;

отчего, возвратясь домой, я ходил по комнате до упада, и кровь беспокойно кипит во мне, и я чувствую какую-то тупую боль в сердце; отчего я переживаю такие трудные минуты? Ведь не влюблен же я, в самом деле, в Вареньку? Ведь я же не хотел жениться на ней и сам толкнул ее в руки Имшина! Все от меня зависело... и не сидел бы я тогда один у заваленного книгами стола да не марал бы бумаги вплоть до рассвета, назло моему камердинеру, как теперь, например!

А они?..

(Тут в рукописи, вместо точек, стояла страшная, раздвоившаяся клякса, как будто перо ударилось о бумагу и разщепилось вплоть до руки.)

Я был болен. Доктор нашел, что у меня разлилась желчь. Я это знал и без доктора. Он прописал мне микстуру и велел сидеть дома. Микстура была невыносимо противна, и потому я через час по ложке аккуратно выливал ее за окно. Когда я вылил три склянки, доктор объявил мне, что я совершенно здоров, и я заплатил ему за визиты с величайшей благодарностью. Тогда он дал мне совет больше

выезжать и меньше обращать внимание на чужие глупости. Я нашел совет лучше лекарства и решился строго держаться его.

У Имшиных я бывал сначала редко: я не мог равнодушно видеть Вареньку женой другого; но потом я хотел пересилить это чувство и нарочно начал чаще бывать у них; однако ж привычка не избавила меня от какого-то болезненного сжатия сердца, которое я чувствую всякий раз, когда вижу Имшина. Напротив, час от часу впечатление делается сильнее и больнее, час от часу я становлюсь раздражительнее. И теперь я нахожу странное удовольствие в этом чувстве: я с какою-то гордостью подставляю свое сердце под эти мелкие удары и холодно смеюсь над его болью.

Как скоро изменилась Варенька! Как легко она вошла в свою роль! Когда я приехал к ним в первый раз после болезни, я почти не узнал ее! Вместо осторожной, связанной этикетом девицы я нашел грациозную, миленькую даму, которая будто весь век была ею.

Меня всегда поражала способность наших девиц становиться сразу в ту среду, в которую

ее вводит перемена положения; и натура удивительно эластична: она тотчас принимает новые формы. Мужчина в этом случае гораздо грубее: ему надобно долго обнашивать свою женатость, чтобы свободно носить ее, а не то она сидит на нем как дурно сшитое платье; но это очень понятно! Оттого-то на сто смешных мужей встречается одна смешная жена.

Я не ухаживаю за Варенькой, — не потому, чтобы это было слишком рано, а из боязни уронить себя в ее глазах: я уверен, она бы оскорбилась и не простила бы мне моего волокитства. Но, сознаюсь, меня что-то влечет к ней. Что? Не знаю! Может быть, привычка, прелесть потерянного или, наконец, избалованное самолюбие, которое беспрестанно запрашивает более и более. Впрочем, надобно и то заметить, что теперь Варенька не деревенская девочка: она имеет всю заманчивую привлекательность женщины, да еще вдобавок так недавно выстрадавшей опытность. Еще одна новая, тщательно скрываемая черта Варенькиного характера притягивает меня своей загадочностью: мне удалось подметить

в ней какую-то внутреннюю сухость, какой-то душевный холод, который изредка пробивается сквозь ее грациозную непринужденность манер и странно противоречит с ее видимой веселостью.

Что это? Следы ли прошлого, не совсем залеченного страдания, или — и самолюбие подшептывает другую догадку — или остаток прежней, против воли тлеющей любви?

Все это вместе очень интересуется и привлекает меня. К тому же она так самонадеянно беспечна, так равнодушно мила, что это меня сердит, особенно когда я вспомню, что не могу притупить глупую боль моего сердца!

Нет, я недоволен собой! Я веду себя как мальчишка! Характер мой испортился до того, что я готов бы был его бросить и остаться совсем без характера, что всего хуже на свете. При Вареньке я то лихорадочно весел, то зол, как цепная собака; без нее мне скучно. Я едва удерживаю себя, чтобы не бывать у нее каждый день, и только мои всегдашние странности избавляют меня от замечаний света. Если я весел, говорят: Тамарин сегодня в духе; если я зол, говорят: у Тамарина желчь, и дело с

концом. Все знают, что то и другое у меня бывает без причины, и моя прочная репутация холодного эгоиста прикрывает меня.

А Варенька все по-прежнему мила и равнодушна — кажется, еще милее, еще равнодушнее! А глупое сжатие сердца еще сильнее! Что ж это, ревность, что ли? И к кому же? К Володе, к мужу!.. Досадно!

Недавно мы случайно остались вдвоем с Варенькой. Она что-то работала по канве и опустила голову. Я сидел прямо против нее, на низком кресле. Две свечи стояли на пьедесталах, и между ними, как в святочных гаданьях, мне видна была головка Вареньки. Я воспользовался своим положением, чтобы незаметно для нее полюбоваться ею. Варенька похорошела. На ее лице нет живости деревенского румянца, но его сменил легкий розовый оттенок. Лицо это, одушевленное чудесными темно-голубыми ясными глазами и двумя ямками на щеках, окаймленное густыми, русыми, гладко причесанными волосами, делало ее головку такой оживленной, и эта головка была так мило поставлена, так проникнута полностью созревшей мысли, что я с наслаждением

любовался ею... Я продолжал смотреть в ее темно-голубые глаза и искал в них признаков смущения и беспокойства, но были они тихи, ясны смело остановились на мне. Прошла долгая минута ожидания. Наконец по устам Вареньки пробежала улыбка, ямки живее обозначились на щеках, и она, немного прищурясь, очень наивно спросила меня:

— Скажите, пожалуйста, что вы так пристально смотрите на меня?

Мне стало совестно самого себя, и я смутился, как почтенный человек, который наедине делает перед зеркалом умильные гримасы и вдруг видит в нем два насмешливых посторонних глаза. Но я оправился и отвечал ей:

— Я искал в ваших чертах черты другой знакомой мне особы.

— И что же?

— И боюсь, что вместо нее увидел вас.

— Будто это так страшно?

— Не страшно, но неутешительно!

— Будете вы завтра в театре? — спросила она.

— Вы хотите переменить разговор?

— Нет, но завтра дают, говорят, хорошую пьесу: «Что имеем, не храним»...

— Она не в моем духе, — отвечал я, — может быть, потому, что я, потерявши, никогда не плачу.

Все это могло бы меня очень забавлять, если бы не было так досадно! Самая пора года, когда наша русская природа готовится к превращению, странно настраивает душу, заставляет и ее желать какой-то перемены. Снег истерся в песок, капли звучно падают с крыш, небо серо, как земля, и, как земля, тучи держат массу воды, готовую смыть ее изношенную одежду. И вдруг пахнет в лицо теплый ветер, Бог весть откуда занесенный навестить какие-то чуждые мысли!.. Нет, решительно я недоволен собой!

Я перестал бывать у Имшиных. Мне надоела эта внутренняя тревога, которая так потрясает меня; но я не избегал ее; я несу ее с собой в шумный сбор молодежи в тишину моего рабочего кабинета; только без Вареньки она иначе действует на меня: она производит впечатление кокой-то постоянной тяжести, тупой, хоть и несносной боли. Впрочем, еще

одна мысль заставляет меня тщательно избегать общества Вареньки: я хочу ее заставить почувствовать мое отсутствие. Когда она меня видит, она становится в оборонительное положение, и борьба дает ей силы; но без меня ей придется иметь дело со своим воображением. «Легче победить сто врагов, чем самого себя», — сказал кто-то прежде меня.

И вот однажды, утомленный пустотой общества, которое мне надоело, скучая по расчету, я сидел у скрытого окна моего кабинета. Были сумерки, те ясные и душистые весенние сумерки, которые так настраивают к мечтательности. Глаза мои, усталые от чтения, лениво отдыхали на глубине горизонта и невольно спустились с него на развернутый перед ними вид. Разлив Волги сливался с далеким небом, вода его была гладка и спокойна как зеркало. Местами ее поверхность была разорвана островами, и на них рисовались силуэты полузатопленных, дремавших деревень. Иногда проскользнет тихо, будто на тайное свидание, тень лодки с одиноким гребцом, иногда послышится мерный плеск воды, и другая лодка, махая, как крыльями,

двумя рядами весел, птицей пронесется перед глазами, и только успеешь увидеть ряды гребцов, дружно и мерно наклоняющихся над водою, и уже нет ее, и оставила она только два следа: полосу на воде да веселую песню в воз духе. Был и третий след, который весь этот вид оставил тогда на душе моей, — неуловимый, мимолетный, но глубокий след! Грустно и больно стало мне, и тихо я вышел из дому, в непонятном мне волнении.

Дом Имшиных был освещен слабо, по-будничному, когда в пустых комнатах горят лампы, как уличные фонари. Но в одном окне свет был ярче, и, осмотревшись кругом, я остановился перед ним. В щель неплотно доходившей до низа шторы мне была видна глубина комнаты. Варенька сидела одна, прислонясь в мягкий загиб углового дивана. Сзади нее стояла лампа, и только часть Варенькиного профиля была ярко освещена. Одной рукой она облокотилась на мягкую подушку, в другой держала книгу, но книга была опущена. А глаза Вареньки были устремлены прямо, как будто она читала другую, невидимо раскрытую перед ней книгу... Сердце силь-

но забилося во мне, и я вошел к Имшиным.

— Дома барин? — спросил я у лакея.

— Никак нет-с: в клубе.

— А барыня?

— Варвара Александровна дома, — сказал он, шумно отворив дверь в залу, что служило вместо доклада.

Когда я вошел в комнату, Варенька была в той же позе, только голова ее была вопросительно повернута к двери, и она, прищурясь, хотела поскорее разглядеть нежданного гостя.

— А, мр. Тамарин! Скажите, пожалуйста, что случилось с вами?

Я поклонился и, подойдя ближе, вошел в яркий круг света. Видно, я был очень бледен, потому что лицо Вареньки изменилось, и она с беспокойством спросила:

— Что с вами, Тамарин?

— Боже мой! Разве вы не видите, что сонной? Разве вы не видите, что я люблю вас, что я вас люблю! — сказал я.

Досада, волнение, чувство, невольное чувство — душили меня. Я едва мог выговорить последние слова и в бессилии опустил в

кресла. Прошла минута страшного молчания... Но сила глубоко из сердца вырвавшегося слова велика тем, что она извлекает ответные звуки: на это слово нельзя отвечать холодно и рассчитано.

И Варенька со смущением и грустью отвечала:

— Несколько месяцев назад эти слова составляли бы мое счастье, а теперь поздно... поздно, Тамарин!

— Послушайте, — сказал я, — я прежде не умел вас понимать, я не мог вас понять: я не был к этому подготовлен; но теперь я вас люблю, Варенька. Я вас так люблю, что заставляю вас забыть прошлое и простить меня... Вы простите меня? — спросил я.

Я взял ее руку и склонился над нею.

— Вы ни в чем не виноваты, — сказала она. — Я это знаю и не обвиняю вас.

— Да, я не виноват; но я вам дал много горя. Простите меня, и у нас впереди будет много счастья, чтобы забыть его!..

— Нет! Счастья уже не будет! — вздохнув, сказала Варенька.

Я ни слова не говорил, но глядел на нее.

— Я вас не люблю больше, — прибавила Варенька холодно, спокойно и твердо.

— Неправда! Неправда! Вы обманываете себя и меня, — сказал я, и в голосе моем было твердое убеждение.

Варенька горько усмехнулась.

— К чему? — сказала она. — Я знаю мои обязанности и мой долг; я их знаю, Тамарин! Но знаю также и то, что сердцу приказывать нельзя... Нет! Я вас не люблю, потому что вы убили мою любовь! Да! — прибавила Варенька. — Вы убили ее. Вы не думали тогда, что она пригодится вам, что когда-нибудь забьется ваше сердце и вы, бледный, измученный, придете за этой любовью!

— Тогда я не любил вас, — отвечал я.

— Знаю... Вы не виноваты... Вы не хотели, чтобы я страдала, но вы не хотели ничем жертвовать моей любви... Вы не любили, но вы позволяли себя любить... Это было очень великодушно! Однако всему есть мера: измученное сердце наконец замрет, и тогда оскорбленная гордость откроет глаза...

Сердце сжалось во мне, и из него начало отделяться другое чувство, которое всегда у

меня наполовину смешано с остальными.

— Я всегда была с вами откровенна, — продолжала Варенька. — Сознаюсь вам, та мечта, которую создало и полюбило в вас мое детское воображение, давно исчезла. Но я любила в вас вашу двойственную, измученную противоречиями натуру. Когда ж я увидела, что вы всегда ребячески боитесь света, что вы бегаєте от всякого чувства, которое может нарушить ваше внутреннее спокойствие, потревожить лень вашего сердца, тогда у меня явилось сомнение в ваших силах, тогда я невольно подумала, что вы бегаєте от борьбы с собой потому, что не в состоянии выдержать ее, и мое очарование исчезло...

— И тогда, — сказал я, — вы выбрали другой предмет любви, более достойный вас.

Варенька не отвечала.

— Утешьтесь, — продолжал я, — вы отомщены!

И в самом деле, в эту минуту, не знаю, от любви ли, досады, или самолюбия, но я страдал глубоко.

— Что мне в этом? — сказала Варенька. — Разве я искала мщениа? Разве я кокетничала

с вами, чтобы возбудить вашу любовь? Напротив, она глубоко огорчает меня, потому что больше заставляет жалеть невозвратимое. И вы думаете, легко мне теперь?.. Знаете ли, что я делала сейчас до вашего прихода? Я мечтала о деревенской девочке, которая увидела одно загадочное, интересное для нее существо. Как она была счастлива!.. Прошло полгода, и в этой неопытной, наивной девочке и в этом холодном, но чудно влекущем ее существе я не узнала ни себя, ни вас! У меня даже не осталось мечты, которую бы я могла любить...

— Боже мой! Но виноват ли я, что я таков! — сказал я, поддаваясь грустному впечатлению и жалея более о Вареньке, чем о себе. — Виноват ли я, что два чувства, которые могли бы составить наше счастье, пришли порознь и разбили его!.. — Что ж мне делать! Что ж мне делать! — вздохнув, повторил я.

— Жениться! — сказала Варенька с насмешкой...

Затем я спокойно улыбнулся, поклонился и вышел. И странное тогда что-то творилось во мне!..

Когда я пришел домой, я тотчас послал за доктором.

— Доктор! — сказал я, когда он явился на мой зов. — Я болен. Я ужасно болен, доктор!

— Что с вами? — спросил он.

— Доктор, у меня страшно болит грудь.

— Гм! Это ничего.

— Кроме того, у меня стреляет в левый бок, боль проходит под ложечкой и оканчивается нестерпимой ломотой в правой лопатке, и все это отдается тупой болью в позвоночном хребте.

Мой доктор задумался. Я продолжал:

— Я кашляю днем и не сплю напролет целые ночи. Аппетита нет решительно никакого. Нервы раздражены, дыхание тяжело. Бие-ние сердца ужасное.

Доктор посмотрел на меня с недоумением, но я был бледен как полотно.

— А голова не болит? — сказал он, заглядывая мне в глаза и щупая пульс. Он думал, вероятно, что я помешался.

— Голова не болит, — отвечал я.

Доктор погрузился в размышление.

— Знаете, доктор, что придумал я. Я болен

весь, решительно весь; мне нужно лечение, которое бы восстановило весь мой организм: я думаю ехать на кумыс.

— А что же? Прекрасно — сказал доктор. — Поезжайте: кумыс восстановит вас.

— Так вы советуете, доктор!

— Непременно. Я вам решительно прописываю кумыс.

— И вы думаете?

— Я думаю, что это необходимо.

— Благодарю вас, доктор, вы меня спасаете! — сказал я с чувством.

И мы расстались, очень довольные друг другом.

На другой день в 12 часов ко мне приехали Островский и Федор Федорыч, за которыми я посылал; у меня сидел уже доктор, пришедший наведать своего больного.

— Зачем ты присылал за нами? — сказал Островский, входя.

— Завтракать.

— Умно придумано!

— А отчего у вас на дворе стоит тарантас? — спросил Федор Федорыч.

— Я еду, — отвечал я.

— Куда это?

— На кумыс.

— Что за дикий вкус!

— Доктор посылает.

— Доктор, что это вам пришла фантазия выгонять его отсюда?

— Сергею Петровичу это необходимо, — отвечал доктор, — я ему решительно прописываю кумыс.

— И ваше мнение неизменно? — спросил Островский.

— Положительно! — сказал доктор.

— В таком случае нам ничего не остается больше, как оплакать тебя и выпить с горя.

— За этим дело не станет, — отвечал я и велел подавать завтрак и закладывать лошадей.

За другой бутылкой все стали говорливее; Островский с большим одушевлением доказывал мне, что живительность виноградного сока не может ни с чем сравниться, и советовал мне лечиться шампанским.

— Попробуй, душа моя, — говорил он, — выпивать бутылочку в день; будет мало, так две, но только аккуратно, непременно акку-

ратно, и ты увидишь, как оно поможет. Лечат же молоком, лечат водой; не может же быть, чтобы вино было менее полезно.

— Между нами, — сказал Федор Федорыч, — если вы едете собственно лечиться, то вы по пустякам едете. Вы больны только мнительностью.

— А разве это не болезнь? — сказал я.

— Правда, — отвечал он, — и очень опасная.

— Мне что-то сдастся, — сказал Островский, — что ты не для кумыса едешь; я за тобой не знал страсти к нему. А здоровье твое, благодаря Бога, не хуже нашего! Правда, ты побледнел и похудел немного, да это к тебе идет; я так вот не знаю, что с собой делать: толстею непозволительно! Нет ли у тебя тут страстишки?.. Кстати! Ну, Тамарин, руку на сердце, а сердце на язык, скажи, как твои делишки с Варенькой?

— Ты знаешь, как я редко у нее бываю.

— И вы не прощались с ней? — подозрительно спросил Федор Федорыч.

— Благодарю вас, что напомнили, — сказал я, — мне, в самом деле, надо проститься с нею.

Да мы отсюда заедем вместе. Вы меня проводите до заставы?

— Непременно, — отвечал Островский.

— Только мы с князем проедем прямо туда, — прибавил Федор Федорыч.

— Напротив, — возразил Островский, — едем вместе.

Через полчаса три наших экипажа шумно подъехали к дому Имшиных. Мы вошли вместе. Володя встретил нас; Варенька сидела за работой и вопросительно посмотрела на мой дорожный костюм.

— Я заехал проститься с вами, — сказал я.

— Куда это вы? — спросил Володя.

— В деревню.

— Так мы опять лето проведем вместе? — сказал чей-то голос из угла.

— Ба! Иван Васильич! Вы еще здесь? Помните, мы с неделю как простились.

— Да с! Да вот не собрался еще выехать. Жалко, что я не знал, а то бы вместе...

— Ну, нам было бы не по пути, — сказал я, — я еду в Оренбургскую губернию.

— Это зачем? — спросила Варенька.

— На кумыс, — отвечал я.

— Лечить расстроенную грудь! — прибавил Федор Федорыч.

Я рассмеялся.

Иван Васильич подошел и с участием поглядывал на Вареньку: он боялся, что мой отъезд огорчит ее.

— Охота же пить кумыс, прости Господи! — проворчал он недовольно.

— Я одного с вами мнения, Иван Васильич, — сказал Островский, — то ли дело вино!

— Что ж! Надобно пожелать счастливого пути отъезжающему, — сказал Имшин и велел подать шампанского.

— Ваш муж удивительно всегда находчив, — заметил Островский, обращаясь к Вареньке. — А жалко вам Тамарина? — спросил он ее.

Вопрос был неожидан, но Варенька не смущалась.

— Очень! — сказала она.

— Так уговорите его по крайней мере поскорее возвратиться.

— А вы пробовали?

— Я советовал ему вовсе не уезжать, да он

не слушается.

— В таком случае я не берусь, — сказала Варенька, — я знаю, что ваши убеждения всегда были сильны над Сергеем Петровичем.

Варенька намекала на мой отъезд из деревни; она хотела казаться равнодушной и была холодна.

Я не был ни скучен, ни весел. По какому-то странному и непонятному для меня явлению, мое сердце ничего не чувствовало: оно как будто замерло; я не умел себе этого объяснить, но был очень доволен собой.

Подали вино. Варенька пожелала мне доброго пути, дотронулась своим бокалом до моего и омочила в него розовые губы; я поблагодарил ее, попросил засвидетельствовать мое почтение Мавре Савишне, пожелал много удовольствий и затем поцеловал ее руку. И это прикосновение было холодно, как прикосновение наших бокалов!

Потом я пожал руку Володе, трижды облобызался с Иваном Васильичем, поклонился и вышел. И вот наше прощание!

Федор Федорыч и Островский проводили меня до заставы. Тут мы остановились, чтобы

проститься.

— Варенька или очень любит вас, или более чем равнодушна к вам, — сказал Федор Федорыч.

— Почему вы это думаете? — спросил я.

— Оттого, что она не допустила себе выказать того мягкого и отчасти нежного расположения, которое всегда бывает у женщины при прощании с хорошим знакомым: она скрывала что-то.

— А я так сделал другое замечание, — сказал я, — что вы принимаете в Вареньке большое участие.

— Вы ошиблись, — отвечал Федор Федорыч, — вот видите ли, почему: я очень люблю смотреть на людей, как на актеров, которые разыгрывают свои роли очень натурально, нисколько не подозревая, что они мне этим доставляют большое удовольствие. Я выбираю из них тех, которые занимательнее, а остальным плачу полным невниманием. С этой точки зрения вы много интересовали меня. Вы были очень эффектны своей холодной безэффектностью в драме, в которой грустная роль выпала Вареньке.

— Чего ж лучше? — прервал я. — Теперь, когда я схожу со сцены, явитесь на ней тем неузнанным утешителем, который говорит: «Бедная Амалия! Ты несчастна, но это сердце наградит твою добродетель».

— Нет! — сказал Федор Федорыч. — Я слишком ленив, чтобы брать на себя какие-нибудь роли, и предпочитаю остаться зрителем.

— Что ни говорите, — сказал Островский, — а я завидую Тамарину.

— А мое мнение, господа, то, что смешно стоять в поле и толковать о подобных пустяках. До свидания! — сказал я, подавая им руку.

— И до скорого? — спросили они.

— Не знаю! Но у меня есть предрассудок никогда не говорить «прощайте!». Это слово исключает мысль о свидании, а мы, может, еще и столкнемся где-нибудь.

Мы пожали друг другу руки и разошлись по экипажам.

Когда лошади готовы были тронуться, я привстал в тарантасе.

— Федор Федорыч! — сказал я. — Если увидите Марион, поцелуйте от меня ее руку.

Он кивнул мне головой, и мы поехали в противоположные стороны...

И вот, через десятки лет, я опять сижу в том деревянном доме, в той комнате, из которых когда-то, давно, давно, полуребенком, я выехал в далекий город по незнакомой дороге. Много золотой мечты было в моей детской голове тогда; много горячих слез было пролито надо мной! И я плакал, и мне было грустно, а что-то звало, что-то манило меня... и я уехал... Прошли годы, я возвратился. Мечты мои я растерял где то на дороге. Многие из тех, которые горячо плакали над отъезжающим полуребенком, давно вышли навстречу и ждали меня, и первые встретили они меня у самого въезда на сельском кладбище! И низко поклонилась праху их та голова, в которой бы разве только сердце их могло узнать детские черты.

И вот я на родине!

Уединение ли от общества, или то небо, которое привыкло видеть мой ясный, не испорченный светом взгляд, просветлило его, только на многое из моего уединения смотрю я, как не смотрел доньше. Отсюда я вижу ясно и

мою встречу с Варенькой. Или я вышел поздно на ее дорогу, или она рано на мою, но мы не могли идти вместе. Мое сердце было слишком обношено, чтобы забиться при первой встрече; оно почувствовало ее тогда, когда Варенькино болезненно о него разбилось. Но не без влияния на него был этот детский удар: кора холодности, которая лежала на нем, не распалась, но была пробита, и сквозь нее проскользнуло много новых чувств, и больно потрясли они обнаженные фибры! Но сельский воздух, говорят, живителен!

Любимое мое занятие здесь — охота; особенно я люблю охоту по вечерней заре на вальдшнепов. Только солнце станет садиться, и выедем мы на длинных дрогах в лес и растянемся цепью по извилистой дороге. Сидишь один на пне или повалившейся березе, ружье наготове, взгляд бессознательно впере-рен в чашу, зато чуткое ухо напряжено и с нетерпением ждет, не задрожит ли безмолвный воздух от знакомого звука. Но вечер тих, в воздухе не шелохнется, слышно даже, как червяк ползет по сухому листу. Чу!.. нет, это тихо кашлянул за смежным деревом припав-

ший охотник. Но вот что-то далеко, чуть слышно, как будто захрипело в воздухе, ближе, ближе... Так! Это вальдшнеп летит с поля в лес на ночевую... Сердце забьется, как будто при знакомом ижданном шелесте женского платья... Ружье приподнято, взгляд беспокойно ищет; и вот между зеленых вершин, как будто вырезанных на темнеющем вечернем небе, мелькнула тень... мгновение, и она опять скроется! Но блеснул огонь, выстрел грянул по лесу, гора отозвалась на него эхом, и все затихло, и птицы не слышно... И сердце опять бьется: что упала ли она, опустив вниз голову и шибко рассекая подбитым крылом воздух, пли, смолкнув, быстро летит далее, и тогда цепь выстрелов гремит по лесу на пути ее, и дробит ее воздушный след, и ловит ее на голубой вышине, и нет безопасности тогда и в вольном воздухе. А между тем стемнело, человека в лицо не рассмотришь... И потянутся по тропе живописные темные фигуры... С жаром рассуждая о выстреле, покуривая, собираются охотники к нетерпеливым коням.

А часто, сидя один, я, с напряжением слушаю безмолвную тишину дремучего леса, за-

ношусь воображением далеко, и перед неподвижно устремленным взглядом проходят заветные, знакомые тени...

Вот они... вот они... и страстно-холодная Лидия с матово бледным челом, и Варенька со своей живописно освещенной русой головкой и темно-голубыми глазами, которые так грустно смотрят на меня... А вот и Марион, веселая, прелестная Марион! Она резво несется мимо, и безмолвные уста улыбаются мне... И за ними другие, неясные, как поблеклая картина, но когда-то тоже милые тени... и шибко бьется сердце, хоть и не чует напряженное ухо знакомого полета над головою!

— А что, сударь, много убили вы? — подсмеиваясь, спрашивает седоусый егерь, который в детстве носил меня на руках. — А был сегодня через вас лет преотличный, да, видно, про других птиц думали вы. — И тогда вспомню я обо всем, что бесполезно пролетело передо мной, и, задумавшись, тогда еду я в темный вечер домой, впереди сидящих с поднятыми ружьями охотников...